

Михаил ТОКАРЕВ

## ФУТ-ФЕТИШИЗМ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

*Повесть*

*Настоящая повесть написана в Переделкино  
в декабре две тысячи двадцать третьего года,  
Юля, Женя, привет!*

### Глава 1

#### Оргазм неизбежен

По всему вероятно, встречать зиму, рассыпаясь ли в снежной пустыне при бледной луне, иль Витязем, размахивающим дерзновенно мечом, попугивая институток, волочащихся с вечерних занятий. Я привык в одинаковой степени безынтересно. Зачастую, встречая зиму, я говорю ей с типичным прононом: гранд мерси. И обязательно кланяюсь. Люблю я русскую зиму поболее весны, лета да осени. Сладко уснешь в троллейбусе, сомлевший такой глядишь на восточную красавицу, на эту розу, расцветающую в пустыне, на этот бальзам звездочка для нашего коллективного израненного сердца, она тебе рахат лукум протягивает, полуобнаженная, ты ей кокетливо: гражданка, уберите свою тулумбу, я вам русских блинчиков испеку, чего же сладкое на голодный желудок. Молчит плутовка, глазками своими кошачьими воздействует. И вдруг старушечьим голосом: а все-таки оргазм неизбежен. Глаза открываешь, бабуль, вы чего, не надо меня облизывать. Глянь в окно, моя остановка. Выйдешь на улицу спешно, холод невообразимый, бодрисься, мысли великие в голове туда-сюда, туда-сюда. Зимой у нас все равны, зимой у нас нету начальника, бригадира, старшего смены, поэта. Есть лишь моментец, подштанники-то наличествуют. Между тем приличествующие заведения, отделения неврологий, наркологий, так уж заведено, имеют честь выпускать меня в первых декабрьских числах. Не успевший зачерстветь душою своей, то есть являясь апологетом прекрасного и возвышенного, я попадаю в приличествующие заведения на осеннем исходе. И вот выхожу, одежды мои делаются блистающими, столь блистающими, что и белильщику не под силу осветлить их подобным образом. В спортивном костюме, безукоризненно выбритый, посвежевший, с пакетом, словно в давнишние времена школьной юности. Но вместо учебников там ватрушка с крайнего полдника, пара носков, щетка да бритва.

В будущем декабре позвали меня в писательскую резиденцию в Переделкино, с пропитанием и проживанием. Куратор Евгения Петровская говорит, приезжай, Миша, роман свой допишешь, чего ж понапрасну растрчивать потенциал. И пока ты, Миша, ищешь, чем бы таким отужинать, чтоб никого не обидеть, произведению уделяется чудовищно мало внимания твоего. У нас, говорит, Миша, две недели трехразовое питание, моцион перед сном, а сон в проветренной комнате да на свежей перине. Признаться, неделю назад по недоразумению, говорю это с определенной

---

*Михаил Токарев родился в 1996 году в Иркутске, переехал в Москву, окончил институт журналистики и литературного творчества в 2018 году, в 2020 году окончил магистратуру РГГУ. В «Волге» опубликованы рассказ и четыре романа (2021–2023).*

долей иронии, завершил работы над романом-воспитанием родителей «Папа у Федора силен в метафизике». Какая мелочь, право, подумают абоненты, примись за новый роман в Переделкине. Дело в том, уважаемые абоненты, уж не угнаться мне за молодыми, что потеряли время и нашли. Я нахожу лишь первые отзывы на папу Федора. В глаза не виданный, однако, по личному разумению, человек интеллигентный, Андрей Карелин, курортник, что лечится и поныне в санатории под названием Агафуровские дачи. По собственному признанию, не успевший вдоволь наесться, помолиться и полюбить, прежде чем его госпитализировали. Известил о собственных впечатлениях касательно произведения о сыне внебрачном, о внуке внебрачном, об отце довольно-таки брачном. Первое письмо, присланное Андреем Карелиным, было написано в телеграфной манере: душевное дерьмо, братец. Тем не менее, читательская телеграмма стремительно поменяла тональность. «Привет, Миша Токарев, за присутствующих в твоём тексте дам я поднимаю свой стакан с клубничным компотом, что же касается мужских персонажей, сына Федора, отца его, внука Эдуарда, мне они видятся настолько фактурными, что пестрый бисер твоего лексикона меня ослепил, как не ослепляли кварцевые лампы во времена далекие».

Не перевелись в нашей губернии граждане, вспоминающие литератора Мишу Токарева, представьте себе, они задаются иной раз вопросом. Когда читают, допустим, новости об очередном глубоко травмированном человеке, что в порыве рецидива спасает котиков, проникая в чужое окно, голенькой, да по карнизу. Или же весть о товарище из Владивостока, ругающего трамвай, плюющего вослед транспорту, однажды он пришиб кондуктора, ложно приняв того за inferнального проводника. А как там, живой ли, новости шибко тревожные, вспоминается литератор культурным читателям. Имея глубоко личную нужду изъясниться в романной форме, совершенно не произвожу рассказов, по прочтению которых кой-чего станет известно о последних свершениях, акадизии, общении с девчонками. Для произведения рассказов не имею, так сказать необходимой физической формы. Рассказ, по признанию одного культуролога, есть боксерский поединок в лифте, разминуться, а также замахнуть для точного удара совершенно нет места. Читатель, он видит, читатель, он чувствует, где автор недоговаривает, может быть, даже халтурит. В продолжительном тексте пространства для маневров несколько больше. В продолжительном тексте прячутся такие несостыковки, увы и ах. Помнится, у Александра Дюма Констанция явлена лет двадцати пяти, темноволосою, однако миледи видит ее с белокурыми волосами. Стоит ли говорить, пероксид водорода появился в конце девятнадцатого века. По временам абоненты знакомятся лишь с верлибрами Миши Токарева. Хотелось бы вам, абоненты, чего-нибудь прозаического, впрочем, не ромашки, впрочем, каких-нибудь, скажем, записей регулярных подать. Также замечу, тексты мои никем не финансируются, а могли бы очень даже финансироваться, как говорят, в приличном обществе, на ход ноги. Хлебопеки какие, портные со своею маркой одежды, имели б нужду заказать рекламу своего производства. Я же в свою очередь на полученные денежные средства приобрел сухофруктов, что восточная красавица из троллейбуса позабыла мне передать. А о вашем хлебушке, курточке обстоятельно поведаю со всеми контактами в сочиненьях грядущем.

Осенью, читая «Каширское шоссе» Андрея Монастырского, произведение, которому уделено преступно мало внимания. Измыслил о том, что история о похождениях в восьмидесятых годах Андрея Монастырского, художника, теоретика искусств, родоначальника московского концептуализма. Нуждается в скорейшем переиздании на русском языке. Музей современного искусства и английский перевод, что Музей современного искусства издал, крайне ограничивает, видится мне, граждан, изучавших в школе немецкий или французский, а не английский. Товарищи книгопечатники, вы издаете «По ту сторону Тулы» Николаева, прекрасные записные книжки Константина Вагинова. Отчего бы вам не обратиться к Андрею Монастырскому, живому и посюстороннему, в общем-то, эпикурейцу. По точному определению Игоря Кириенкова, русское психо, получившееся у Андрея Викторовича, есть эстетическая акция, а также творческий поиск. Православная аскеза, упорные молитвы, походы в церковь даровали в восьмидесятых годах Монастырскому, что называется, сумасшествие. Художнику виделись знаки порядка духовного, художник употребляет

в своем тексте, к примеру, слова эйдос, мыслеформы. А тело его физическое в некоторых случаях оставалось на земле, в то время как сознание отлетало. Не припомню сейчас, до третьего ли неба, о котором упоминает Павел, не до третьего. Автором предисловия будущего издания «Каширского шоссе» на русском языке отчего-то мне видится Эдуард Лукоянов. Его научный язык знаком с каждым изгибом литературного тела. Его научный язык способен доставить многим культурным читателям немалое удовольствие. И все-таки мемуары Андрея Монастырского показали мне, прежде всего, рассказом о странной любви. Странной, как любовь Оскара Кокошки с куклой Альмы Малер, походы в театр с нею, обеды в кафе, удивленные взгляды прохожих. Впрочем, когда есть любовь, ямочки от оспы так же прекрасны, как ямочки на щеках, дорогие мои. Я же осенней порой, перед самой поездкой в писательские резиденции Переделкино, занялся звуком, с чем и погорел.

Всерьез увлекся радиостанцией УВБ-76, вещающей двадцать четыре часа в сутки вот уж пятьдесят лет. На частоте четыре тысячи шестьсот двадцать пять килогерц. По слухам, из-под Наро-Фоминска. В простонародье Жужжалка транслирует в эфирное пространство короткие, повторяющиеся сигналы, временами передача сигнала прерывается, происходит воспроизведение голоса на русском языке. К примеру: офицер дежурного узла связи Дебют, прапорщик Успенская, получила контрольный звонок от Надежды, поняла. Нечастые разговоры, где упоминаются коды связи Судак, Вулкан. Однажды мне удалось расслышать мужской голос: Анна, Николай, Иван, Татьяна, Роман. В статье за авторством ВВС выдвигается гипотеза о том, что ретранслятор подключен к нашей с вами, уважаемые читатели, российской ракетной системе Периметр, а непосредственно сигнал именуется сигналом Мертвой руки. В случае нападения на нас, уважаемые читатели, сигнал тот вызовет ответный ядерный удар. При условии прерывания работы этой самой Мертвой руки в результате вражеской ядерной атаки. В сущности, симпатии к белому шуму из утробы матери сменились на трансляции УВБ-76 этой осенью. Я непрерывно слушал сигнал, дослушавшись, таким образом, до того, что стал принимать его самостоятельно, не используя репродуктор. Вероятно, звуковые аттракционы стали для меня своеобразным зеленым фонарем, приятной иллюзией, никаких отклонений. Осенняя, можно сказать, забава со звуковыми штучками. Однако вот по аналогии с Андреем Викторовичем получилось несколько шизотипично, подобно тому, как отсталый ребенок читает книжку от конца к началу, то есть анекдотично.

Словом, наступила пора моего увлечения физикой, с трепетом подумалось мне. Одухотворенный, скачал учебник по радиоэлектронике за авторством Мамзелава И.А. Решил прикупить также хорошую аппаратуру, а именно колонки Эстония 35 АС-021. Продавала их самодостаточная, как вода после пельменей, дама. С фотографии на меня глядела несомненная Кармен. Три вещи у ней были черные: глаза, веки и брови. Три тонкие: пальцы, губы и волосы. Медная кожа, угольные волосы с голубоватым, словно крыло ворона, отливом. Короткая, обтягивающая юбка янтарного оттенка, белые шелковые чулки, пушистая кислотная кофта. Мы с ней некоторое время трещали по телефону, представьте, сделал ей комплимент. Кажется, назвал ее трифтазином без корректора. Смутившись, она сказала: спасибо, конечно, все может быть. Раздумывала мгновенно, называть ли адрес, назвала. Признаться, начиная с октября, не на шутку увлекся романтизмами по переписке, особенно мне запомнилось наше уруру с одной премией поэтессой, преподающей физику. Столь премилый, что я, признаться, подышал бы с нею над одной кастрюлей с горячей картошкой, наши головы накрыло бы вафельное полотенце. По нашим щекам бежали б жемчужинки пота. Но продавщице колонок было явно меньше пятидесяти, поэтому в значении, что называется, флирта был весьма чопорен. Проехав на троллейбусе три остановки, вышел у дома шестнадцать по улице Персиковой.

У подъезда дежурила скорая, милицейский бобик, три человека в халатах, два в серых кителях решительно окружали шуплого полуобнаженного дядьку с изящным ножом для резки и шинковки, сантоку. – Мужчина, мужчина, отпустите меня, – забился тот воробушком в руках плечистого сотрудника правопорядка с глиняно-красным лицом. – Я не мужчина, я сотрудник милиции, – отнекивался мужчина, выкручивая, как белье после стирки, руку брыкающегося гражданина. –

Товарищ Дудикофф, прекратите размахивать ножом, вы не сможете скрыться даже в Латинской Америке, – пожурил его моложавый медбрат со скуластым калмыцким лицом. На фасаде дома была мозаика, биполярники плывут на льдинах в красных пуховиках, в отдалении виднеется силуэт ледокола. Проходя мимо честной компании, услышал впервые этот вопрос. Пойманный Дудикофф обратился ко мне с какой-то почти детской игривостью: а кто тобой управляет? Нежные хлопья снега мягко ложились на короткие русые волосы дебошира.

Сообразно вопросу отвечивал: кто надо, тот и это самое, однако предпочитаю не распространяться на сей счет с малознакомыми людьми. Остановившись в нерешительности, не преминул несильно пнуть гражданина в коленку. Его жилистое тело, покрытое тонкой вязью черных наколок, озябло. Древние письмена, причудливые узоры могли быть приняты необразованным Токаревым за Сак Янт, санскритские слова, пришедшие к нам из Ведической культуры. Токарев поглубже мог отнестись рисунки к традиции ритуальных татуировок, наделивших владельца особыми мистическими силами. Всполошившийся белообрый сержант на всякий случай спросил, все ли с головой ладно у меня. Ну, конечно же, ладно, горячо заверил его. И наши взгляды, словно хозяйкина пряжа в лапах кота, переплелись. Вошел в дом, поднялся на третий этаж, постучал в дверь. Повевало сыростью, стоило лишь переступить порог. Хозяйка колонок чрезвычайно походила на Барби Бриджес, в девичестве Мелисса Скотт. То была не Кармен, что привиделась мне на фотографии. Полупрозрачный кислотный купальник с блестками напоминал сброшенную змеиную кожу. Когда она улыбнулась, эта эроцентричная тетенька лет сорока. Я быстро отвел глаза от лобка, поросшего буйными черными волосками. Запутанность между ног барышни была созвучна речам участников двадцатого съезда, какой-то культ личности, какие-то вопросы народного хозяйства. Ее улыбка понравилась мне, по всему вероятно, в отсутствующем переднем резце я разглядел нечто родное. Порядком устав от напускной сексуальной порочности, мне отчаянно не хватало вот этой, обезоруживающей простоты.

– Вы не думали, какого цвета чеховское ружье, вставленное нам всем в глотку? – начала она издалека. Кажется, пребывая под влиянием алкоголя, маслянисто блестели ее черные, точно смородина, глаза. Расслабленная, тягучая речь завораживала. Должно быть, тетенька приняла меня за кого-то, кого-то, способного всерьез рассудить, чья же актерская школа самая лучшая: Чехова, Мейерхольда, может быть, Станиславского. Сказал ей, прикусив губу: я за колонками, желаю купить у вас колонки, по объявлению. Из глубины квартиры доносились шумные звуки любви, кого-то порол. Так звучит порнушка восьмидесятых, еще не лишенная изящества, обаяния, жизни. Тетенька сказала с некоторым сожалением: колонки, ах да, колонки. Застучали каблучки черных лодочек, дама скрылась в пучине жилища. Полумгла придавала обыкновенным вещам некую многозначительность. Малахитовый зонтик в углу принял облик экстравагантной змеи. Злоуханная плешивая шуба, траченная неведомыми телами, угрожающе зарычала. Бейсболки на вешалке, судорожно забив крыльями-козырьками, были не в силах взлететь. Хозяйка зоопарка вскоре принесла мне колонки в клетчатой турецкой сумке. Голубой пеньюар с драконами, за которым она скрыла собственную наготу, высунутый коралловый кончик языка. Она не стремилась более заводить со мною диковинные беседы. Спросила лишь дежурное: тебе как обычно? И мне, дорогой читатель, совершенно не надо было как обычно. Ведь как обычно требовало недюжинного здоровья, повторной остановки сердца я мог и не пережить. Впрочем, продавщица колонок могла иметь в виду нечто иное. Расплавившись за эстонское чудо техники, спешно покинул квартиру.

По приезду домой я стал оказывать некоторое влияние на разум соседней. Производил своего рода воздействие на бессознательном уровне, шалости, достойные поведения ребятишек из республики ШКИД. Разработанная в ялтинском санатории «Энергетик» кандидатами медицинских наук И.А. Кулаковым, В.Я. Ткаченко на излете восьмидесятых годов аутогенная тренировка. Дословный текст аутогенной тренировки следует далее. Размеренный голос, прекрасная дикция, пленительность гипнотизера; представьте, будьте любезны, данные обстоятельства. Включил запись на новых колонках. «Мои слова вы слышите хорошо. Подчиняйтесь моим словам. Водка вам безразлична. Нет потребности выпивать. Остатки алкоголя ушли из вашего организма. Вы

убеждены в своей трезвости и сделали это по собственному желанию. Трезвость это ваше нормальное состояние. Вы спокойно отгоняете мысли о выпивке. Вам приятно пить соки, компоты, минеральные воды. При неприятных ситуациях в семье или на работе вы сохраняете спокойствие. Вы убежденный трезвенник. У вас появилось непреодолимое желание хорошо работать на производстве, работать в саду, на огороде, ловить рыбу, читать, заниматься физической культурой и любимыми делами. В компаниях, во время застолья, вы спокойно смотрите на бутылки с горячительными напитками. Вы помолодели, окрепли. Наладились отношения в семье, с родителями, с товарищами по работе. Вы стали уважаемым человеком. У вас золотые руки и светлая трезвая голова. К алкоголю вы испытываете безразличие и отвращение. Вы добровольно приняли решение лечиться. Вы достигнете поставленной цели. Мои слова вы хорошо слышите, подчиняйтесь моим словам. Это необходимо для вашего выздоровления».

В комнату стремительной львицей вошла матушка и настоятельно посоветовала уделить внимание психике. Матушки ревностны чрезвычайно, радуют о нашем душевном спокойствии. Сходи-ка, милый друг, за антипсихотиками, а вообще я горжусь, что тебя зовут в разные резиденции, добавила она с некоторым опасением. Пусть я и снялся с динамического учета, однако бывают в жизни моменты, когда хочется простой региональной грусти. Нынче это общее место, подобная грусть с элементами бреда. Немало девчонок, немало мальчишек, а уж родителей и по-давно, немало, грустит исключительно, томится с нескрываемым наслаждением. Как сказал Николай Бердяев об Андрее Белом: русский до глубины существа, в нем русский хаос шевелится. В ряде случаев, трясясь в метро, трапезничая в социальной столовой, примечаю в глазах сограждан подобное шевеление русского хаоса. И это прекрасно. Эксплуатация образа приличествующих заведений, вот что поистине вызывает у меня скуку. Читаешь иной раз художественный дневник нашей с вами современницы, а у нее сплошное расстройство пищевого поведения на уме, или еще какая-нибудь гадость. Современница, хотелось бы к ней обратиться, видала ли ты картину Ивана Шишкина «На севере диком». Ты обязательно ее посмотри, эту картину, в ней притаились удивительные смыслы. В ней на голой снежной вершине сосна дремлет, качаясь, одета, как ризой, она. Только подумайся, современница, одета, как ризой. Что же ты скажешь об этом, обыкновенная сосна, однако, какова экспрессия!

Возникнув на пороге лечебницы, с удивлением обнаружил отсутствие Ольги Богначевой, а также целого ряда врачей, с коими состоял в отношениях. В кабинете сидела незнакомая обширная дамочка, с вплетенной в русые волосы лилией. Мы с нею кратко переговорили, ничего особенного. Вышел в коридор. Однако кое о чем вспомнил. Возвратившись без стука, попытался прояснить некоторые вопросы. – Одновременно с этим, Маргарина Павловна, прошу вас дать себе труд выписать мне габапентину! – решительно попросил тетеньку, в глазах которой читалось легкое смятение. Как смеет литератор земли русской повышать свой голос, у него же больное сердце от всех этих переживаний за персонажей, неровен час опоссумом прям тут он упадет и более не встанет. Вероятно, дамочка не предполагала ничего выписывать сверх меры. – Я сказала, пошел нахер отсюда, я тебе уже выписала твои пилюльки! – Она именно так и сказала пятью минутами ранее своими сиреневыми губами, когда я опрометчиво клянчил у ней габапентин. – А я бы настойчиво попросил вас предоставить мне компетентных ветеринаров, что лечили меня некогда, быть может, вы имели наглость их слопать? – рвал и метал я. Стоя в дверях, очевидно, мешал войти прочим людям, коих терзали подселенцы, за спиной недовольно бурчала старушка: тыр-тыр-тыр. Повинуясь императиву, сообщающему, что старости у нас везде дорога, посторонился. В конце очереди сидел мой давнишний знакомый, служащий канцелярии в министерстве криминалистики.

Чернойкой такой гражданин лет сорока, с поседевшими висками, аккуратной щеточкой рыжих усов, одетый в синий костюм, в таких школьники в перестройку ходили. Его звали Григорий Племянник. И он в своем отделе такого насмотрелся, в этом архиве, что количество молока, выдаваемое за вредность. Однажды совершенно перестало уместаться в холодильник. Пришлось им с женой заняться предпринимательством, сбывали товар соседям. Об этом прознало выпретенное

начальство, статью за спекуляцию вот-вот должны были ввести. Стали Григорию в отместку давать в производство делишки о серийных убийствах, что, согласитесь, несколько экстравагантней убийств бытовых. А он чего, с покорностью ласковой коровы анализирует паттерны поведения, систематизирует портреты преступников. И решает, значит, однажды на месть. Гриша, этот маленький человек взрослым голосом говорит: дяденька, как воткну я тебе в горло отвертку, так и купишь мне сигарет. Образно говоря. Племянник проникает в кабинет своего руководителя, вливает по целому пузырьку валерьянки в ботинки Карабаса-Барабаса. И за Карабасом-Барбасом открывается самая настоящая кошачья охота. По рассказам служащего архива, коты растерзали начальника с особым цинизмом весной. А новый руководитель, прознав о проделках Григория, стал отправлять в архив самые страшные дела. Дела, в которых замешана любовь. Племянник на этой почве и повредился рассудком. Теперь вынужден раз в два месяца сюда приходить на консультации.

Помнится, в нашей недолгой беседе Григорий произнес премилую фразу: в детстве я хотел стать гардеробщиком и управлять страной, а сейчас хотелось бы не потерять окончательно здравый смысл. Ох, Гриша, мы все потеряем его, подумал я, однако вслух ничего не сказал, чтобы не пугать раньше времени человека. Помнится, в том разговоре Племянник поведал о крайних преступлениях, с которыми имел честь поработать. Одно меня совершенно не заинтересовало. О пожилом господине, убивавшем своих возлюбленных. Господин тот сбрасывал тела прямо соседям с четвертого этажа на балкон, в свою очередь, негодник проживал на пятом этаже. Милиционеры вынужденно арестовывали жильцов квартиры на четвертом. Через полгода въезжала новая семья, этот Александр Солоник из народа совершал повторное преступление, сбрасывал тело. И никому почему-то не могло прийти в голову, а не взглянуть ли нам вверх, быть может, нам следует поменять угол зрения, посмотреть на дело иным образом. Примерно месяц назад произошли форменные чистки, неблагонадежных сотрудников списали в запас. На их места пришли вчерашние студенты, целеустремленные, голодные до правоохранительной работы. И семидесятилетнего учителя биологии, что лишал жизни собственных студенток за незнание медицинских аспектов генной инженерии, удалось благополучно задержать. В общем-то, рядовой случай. В общем-то, подобные дела встречаются повсеместно, в том числе и в моей практике.

Что же касается второй истории, рассказанной Гришей, она мне настолько запала в сердечко. Что захотелось мне в стихах ее запечатлеть. Безусловно, подобные стихи о неподцензурной любви достойны пера поэтессы Алины Витухновской. Изящной девы, как балясина, девы-декадентки. И на фоне пера Витухновской Алины, этого нефритового стержня, а не пера, я всего лишь пописываю на кустики современности, образно выражаясь. Рассказ о запретной страсти, свидетелем которой, благодаря снимкам с места преступления, протоколу допроса, я стал. Нуждался в скорейшем увековечивании. Рассказ о запретной страсти в очередной раз показывал нам, дорогие читатели, как скоротечно все вокруг. И песенка короткая, как жизнь сома. И срок выплат пособия по безработице. Однако не из честолюбия написал я следующий поэтический текст, озаглавленный: лазоревая бухгалтерша в норковой шапке. Вовсе нет. А написал следующий поэтический текст с тем, чтобы предупредить отстающее поколение, не убий на большой перемене восставшего среди тебя пророка, явившего чудо, подстрекателя этого, что молвит: пойдём вслед богов иных, которых ты не знаешь, будем служить им! О, мое бедное, отстающее поколение, не убивай в этом случае завуча. И одноклассницу, что предпочла физрука, не убивай.

Чарующий помпадур,  
Сокрытый норковой шапкой,  
Глаза египетской девы,  
Раскосые, миндалеобразные,  
Лапидарные красные губы,  
Обороноспособные,  
Всегда крепко сжатые,

Бухгалтерша из универмага  
Сидела вот здесь,  
За свою конторкой,  
Подойдя к ней, покаялся  
В своих личных симпатиях.  
Опишите реакцию,  
Только короче, поменьше эпитетов.  
Але машир, але машир,  
И замахала руками,  
Вероятно, смутившись  
Столь очевидному интересу,  
Столь безотчетному страху  
Хоть на мгновение выйти  
За рамки кредита.  
Говорите яснее,  
Не надо додумывать.  
Оказывая знаки внимания,  
Будучи глубоко убежденным  
В собственной правоте,  
Судимостей не имеющий,  
Явился в указанный час,  
Что значился в графике  
Нашей бухгалтерши,  
Как окончание рабочего дня,  
Вероятно, желая,  
Перестать вдовствовать,  
Вероятно, в поисках,  
Как вы сказали, личной выгоды.  
О чем вы ее попросили,  
Только давайте яснее.  
Доставьте блезир,  
Пропросту говоря удовольствие  
Своим только присутствием  
Вечеру в доме культуры,  
Сегодня вечер качучи.  
Прошу уточнить, что за качуча,  
Возраст, социальный статус.  
Речь об испанском,  
Испанском народном танце,  
Я пригласил, она отказала,  
Имела полное право,  
Но почему отказала.  
И что же вы сделали,  
Когда она вам отказала.  
Я оторвал сосулю,  
Да прямо, знаете, наваждение,  
Вместе с недавним взысканием,  
Все перепуталось,  
Я нанес удар в область глаза,  
Она упала, задергалась.

Подпись, число.  
Нижеподписавшийся  
Работник склада такого-то,  
Свершивший деяние,  
С целью вступить в близость,  
Активно содействую  
Нашему следствию.

## Глава 2

### Ученица Чуковского

Приснившийся композитор Эдуард Артемьев крайне озадачил своеобразной просьбой. Пребывая, по-видимому, на незнакомой мне даче, я весьма подивился предлагаемым обстоятельствам. Откуда-то поддувало, на улице кружились снежинки. Стало быть, зимней порой повстречался с великим композитором Эдуардом Артемьевым. Перед окном сугробы высоченные, в таких сугробах по весне, должно быть, обнаружится поезд с пионерами, что пропал в пятьдесят втором году. Елочки, напоминающие строй женщин в темно-зеленых бушлатах, опасных и сексуальных, затянувших туманную песнь. На стене лыжи висят пластиковые. На диванчике сию скрипучем, сквозь подштанники колется одеяло в зеленый квадратик. Композитор, этот курьер из космоса, этот свой среди чужих, чужой среди своих, был взвинчен. Он тряс меня за плечо, возбужденно говоря, чтобы я основательно запомнил, где находятся его дневники. Представьте, назвал точный адрес коммунальной квартиры, сообщил, какую стенку мне следует разобрать по кирпичику. Не совсем понимая, к чему Эдуарду Артемьеву понадобилась помощь откровенно нелепого юнца, не сочинившего даже элементарного: жил-был у бабушки серенький козлик. Я пламенно заверил его: не беспокойтесь, все будет исполнено в лучшем виде. Музыкант подошел к окну, сказав, как будто не мне: вы и представить не можете, сколько эти дневники стоят в данное время. Помнится, тоже подошел к окну. Там два мальчика, два тихих обормотика, по признанию Александра Кушнера, проваливаясь по пояс в сугробы, устремились в сторону леса. Один из них тащил на веревочке желтые санки. А я проснулся, благополучно позабыв адрес коммунальной квартиры, ведь с памятью моею произошли существенные изменения, вызванные плохой экологией. Вообразите, не мог вспомнить даже, кто проживал в моем теле до меня.

Решившись отзавтракать куриным супом, имел наглость обнародовать скрытый от посторонних рык, потянулся. В оконце меланхолично дымили трубы ТЭЦ, в потемках прыгали огоньки проезжающих по нашей крученной трассе на Ленинград машин и автобусов. Куриный суп, что стоял на балконе, заволокло тоненькой ледяной корочкой. К середине ноября температура опустилась до минус двенадцати, внутренне требовал: погода, погода, сотвори минус тридцать, чтоб скрипели носы, а все дурные мысли у сограждан повылетали напрочь из головы. Завтракать позволил себе при свечах, в семь часов утра световое наполнение несколько куце, редкие фонари картавили. Внеся кастрюлю на кухню, зажег поочередно три умильные свечи-ангелочка. Проломил веслом, ложкой, если угодно, наледь. В ушах слабо жужжало, интенсивность сигнала сделалась меньше, однако я по-прежнему мог улавливать этот совершенно невообразимый, чудесный звук. Вглядевшись в куриную гладь, заметил, как морковное бревно скользит по куриному льду, как заросли брокколи дрожат на ветру, как полупрозрачные рыбки-макароны юрко плывут стайкой куда-то. Зачерпнув поварешкой миллиграмм триста похлебки, обрушил этот нескончаемый, потревоженный речной массив в жестяной карьер миски, которую тут же поставил на плитку. И, глядя на подогреваемый супчик, я распознал в нем известное кипящее озеро в Доминике, чья



температура стремится к восьмидесяти градусам. Напоминающий едва различимый звук корабельных сирен, сигнал изменил тональность. Теперь в голове звучал крохотный саксофон Чарли Паркера, Паркер извлекал крайне занимательные ноты, композиция называлась, если мне не изменяет память: время пришло. Грешным делом подумалось, уж не Голос ли Америки вторгся в мои ушные просторы. Уж не Сева ли Новгородцев тому виной, виной этому совершенно взеземному явлению.

На кухню стремительным леопардом вошла матушка. Живо поинтересовалась, к чему ж в такую ранину вскочил. А я не вскочил, храбро отвечал ей, а всего лишь принял иное агрегатное состояние, что в определенной степени равнозначно моему, что называется, желанию построить нормальный режим сна. – Не нравится мне твоя решительность, – сказала родственница. Попыхивая электрической сигаретой, ничего ей не говорил, покачиваясь у плиты, вглядывался в это сувое бурлящее озеро. – Помнишь, в последний раз, когда ты стал таким решительным и написал слово нюанс, да с мягким знаком, что вышло, – сонно промурлыкала женщина, удалившись в свою комнату. И я в очередной раз отметил, сколь умна матушка. Она знала, допустим, что первый всесоюзный съезд советских писателей состоялся в тысяча девятьсот тридцать четвертом году. Откровенно говоря, она знала многое, ведь училась в Иркутском лингвистическом университете аж в восьмидесятых годах. И слово гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин она талантливо произносила, не переводя дыхание.

И она вышла из кухни, эта до безобразия сообразительная матушка. А я предощутил звонок. На скатерти в крупный зеленый горох лежал мой кнопочный телефонный аппарат. И он как будто бы стал испускать волны определенной длины, само собой, не видимые простому глазу. Однако я услышал едва слышное шуршание. И в следующую секунду трубка захлебнулась, «Сказки Венского леса» стояли у меня на рингтоне. Звонок принадлежал моей бывшей коллеге, журналистке Лидии Снеговой. Лидия сказала, ерничая: Миша, с тем ли я сейчас говорю Мишей, что верит в принципы независимой журналистики? Ответил бывшей коллеге следующим образом: о, Снеговая, я доверяю только тебе и седой ночи. Девушка, довольная моим ответом, предложила сделать интервью с одной бабушкой-литературоведом, любимой ученицей Корнея Ивановича Чуковского. Отчего-то мне подумалось в тот момент о Виталии Пуханове, который в свою очередь любил сочинять стихи об одном мальчике, у него даже целая книга об одном мальчике, повстречавшемся с волшебником, имелась. Правда, для кого-то одна бабушка звучит совершенно не сексуально. То есть, понятное дело, мои читатели люди понимающие, что называется, джохан-похан мои читатели. И красоты престарелых женских тел способны вместить. И хочется нам с уважаемыми читателями потерять пемзой из Йошкар-Олы пяточки Вассы Железновой порой. И хочется нам с уважаемыми читателями Анне Федотовне, графине, вычесать посеребренные волосы порой. Мы с вами, уважаемые читатели, не со всеми, конечно же, носим гордое звание геронтофил. Читательницы в свою очередь, полагаю, отдадут предпочтение тем самым пресловутым мальчикам, о коих любит сочинять стихи Виталий Пуханов.

О, Лидия, что мы знали о Лидии. Достаточно вспомнить роман вашего покорного слуги, Хрущёвка нашей любви. Внешность, образ жизни, страсть Снеговой я подарил главной героине произведения, Плаксиной Евгении. Лидочку также не интересовала икра, но интересовала вся рыба. Когда она входила в редакцию, в этот чинный, чопорный мир как будто врывалось свежее дыхание жизни. На третьем взводе, то есть изрядно пьяной. Ей дозволялось таковою быть, ибо главный редактор высоко ценил тексты Снеговой. Ах, какие невообразимые лонгриды о наркоманах она писала, сколь фактурные криминальные расследования она подавала в газету. Даже сам Пулитцер, бывало, звонил в редакцию и с большим воодушевлением хвалил эту сильную девушку, что победила канцелярское удушье. Года два назад Снеговая начала заниматься собственным изданием. Кажется, у нее трудились сплошь суфражистки. Я уважал нашу Лидию прежде всего за ее

позицию. Пусть и не знал, что за позицией она обладает, однако был уверен, еще как обладает. И готова была за нее терпеть лишения, а по временам и внимание рокопков.

Лидочка Снеговая великодушно пообещала мне за интервью к девятидесятилетию заслуженного литературоведа Оксаны Витальевны Бибигон: пять шишек и три кленовых листика. Данные денежные средства были ой как нужны. Приближался очередной две тысячи двенадцатый год, не подкрепленный ни честным словом, ни монетами в целлофановом пакетице, что используется мною в качестве кошелька. Не хотелось также бытовать в роли лауреата премии Андрея Белого, где выдают вместе денежек яблоко и бутылку водки. До поездки в писательские резиденции оставалась неделя. Поэтому предложение Лидии было рассмотрено мною в особом порядке. Впрочем, недавнее беспрецедентное увольнение, о нем расскажу несколько позже, к чему нам спешить. И не продленная пенсия по шизофрении. Словом, обстоятельства, вынуждающие порядочного человека, теряя портки, бежать по тротуарам и аллеям на биржу труда. Это вот недавнее увольнение и подорожавшие сухофрукты заставили сказать Снеговой: крошка, я в деле, мои авторские знаки ничто без тебя, ничто без твоего прогрессивного издания.

Самое время сообщить об увольнении. Мои читатели, вскормленные черным снегом равнодушия со стороны социальных служб, прекрасно знают, что я работал последние два года в маленьком, словно жизнь тутовых шелкопрядов, издательстве. Работая три дня в неделю, имел возможность сочинять литературу. Дежурил. Отвечал на звонки с присущей мне обаятельной хтонью. Нынче, как понимаете, временно не работал. За два года службы в издательстве были написаны такие выдающиеся тексты, как: «Солнышки, это чума!». «Плохие мальчики попадают в Сибирь». «Хрущевка нашей любви». «Папа у Федора силен в метафизике». Получая двадцать четыре тысячи рублей, я не ощущал себя дешевой проституткой лишь потому, что понимал, странное время, отведенное мне для жизни, занято написанием исключительно великих произведений. Тем не менее, минимальный размер оплаты труда безотчетно повысился до двадцати тысяч. И цены на продукты также повысились. А проституировать за сумму, равную тремстам двадцати восьми пачкам амитриптилина, значило поставить собственную репутацию под удар. Стоит заметить, делишки у издательства шли плохо, арендная плата скакнула в два раза, главный контрагент был близок к банкротству, отказавшись платить за три месяца. Начальник-буржуа стал уговаривать дежурствовать в нерабочие дни. Должно быть, он напрочь слетел с катушек. В порыве гнева престарелый мужчина сообщал, что высокие зарплаты это навязанный стереотип Запада. Его седая борода топорщилась, сам он, разодетый в ярко-красный камзол, устаивался от меня неизменного дикого крика, означающего желание вступить в профсоюз, которого нет. Не первой свежести буржуа, безотчетно возлюбивший денежки. На косогоре лба этого представительного мужчины семидесяти лет росло два уродливых кактуса, не знавших ножниц садовника. Носил он полотенце в желто-оранжевую полоску на манер шарфа. Бывало, во вторник, в единственный день, когда всем сотрудникам надлежало присутствовать на своих рабочих местах. Бывало, во вторник за обедом начальник в высшей степени горделиво рассказывал нам о своем полотенце, что заменяло ему шарф. Целых два года за каждым долбаным обедом пожилой буржуа рассказывал нам о своем проживании в конце девяностых в подмосковной гостинице, где собирались разные писатели-фантазеры. О том, как один из трех братьев Стругацких, какой именно, не уточнял, окрестил нашего начальника надеждой российской фантастики. А это вот полотенце, которым один из четырех братьев Стругацких, какой именно, не уточнял, вытирал свои ноги в конце девяностых на слете фантастических сочинителей в подмосковном пансионате, сохранившем убранство советского благолепия, начальник носил в память о временах былого величия. Прошайте, Изяслав Флорентинович!

Тем утром после разговора с Лидией Снеговой. Отзавтракав супом, наскоро влез в скользкую шкуру журналистской амфибии. Некоторые навыки, приобретенные мною в былые годы,

в годы моей службы корреспондентом, были полезны. Немотивированная сентиментальность могла помешать, от нее стремглав отказался, выпив тридцать миллиграмм либриума. Не лишним показалось вспомнить также основные правила проведения интервью. А именно: проверить работоспособность техники, диктофона. Не у родственника ли предстоит брать интервью, крепко задумался, утвердился в собственных мыслях, в роду не было учениц Чуковского. Свободно ли ориентируюсь в вопросах, Лида прислала вопросы, свободно. Смогу ли поощрять рассказ улыбками, кивками, восторженными восклицаниями. Наверное, смогу. А не вмешиваться у тебя получится, Токарев. Вы только попросите, я не вмешаюсь. Да так не вмешаюсь, что невмешательство Лондона в дела фашистской Германии, когда та коварно захватывала Испанию, покажется детским лепетом. Погладил рубашку, побрился, порезавшись, улыбнулся, глядя на свое отражение в овале зеркала. Спелые плоды шиповника застучали по раковине. Некоторое время в задумчивости постоял, прежде чем обработать бритвенный поцелуй перекисью водорода. Наконец обработал травму, удалился в кладовку. Решил разыскать свой пиджак, незначительная мелочь могла помешать проведению интервью. Мужчина в пиджаке и отглаженной рубашке воспринимается населением как человек, заслуживающий доверия, по меньшей мере, как представитель жульнической фирмы «Хопер-Иинвест» или же сотрудник районной администрации.

По заснеженным дорогам нашей коллективной матушки, точно стаи, безусловно, волков, брели вереницы немые плененных германских полков. Хлопя снега приставали к каракулевым шапкам, нахмуренным бровям граждан, волочащихся на работы около девяти часов утра. Понурые люди напоминали ломовых лошадок, что неотвратимо тащат на телегах мусор великих сражений, части броневиков, самолетов, орудий. Выйдя из дому, в очередной раз отметил, сколь тоскливы их взгляды. Разве что дворник, обрушившая свой грандиозный лом, делал это вдохновенно. У туберкулезного диспансера грациозно скользил паренек в клетчатом пальто, с застенчивой порослью у основания вздернутого носа, взмахивал кожаным портфелем, балансируя. В его павлиньих, круглых глазах плясали безумные огоньки, кажется, школяр был влюблен. Узкие кофейные брюки, осенние туфли. Мне подумалось вдруг о своих читателях-мальчишках. Мои читатели-мальчишки, разбросанные по школам, университетам, лагерям и воинским частям. Безусловно, хотят быть любимы, хотят любить. Желая, чтоб каждый читающий меня мальчишка однажды услышал от понравившейся девчонки: ждала тебя, как ждут совестливые граждане шамана Габышева из психушки. Оксана Витальевна, у которой предстояло взять интервью, проживала через три остановки от моего дома. Напротив семейного кафе «Лимпопо», что держали бандиты. Утренний морозец приятно покусывал за поясницу. Я шел вдоль хозяйственного магазина, ларька ремонт бытовой техники, ломбарда. Примерно на пересечении Довженко и Кириенко в голову пришла исполненная обаяния строчка, спешно достав блокнот, зафиксировал выражение: я опознаю тебя по отпечаткам твоих зубов на своей руке. Одобрительно хмыкнул, чем вызвал приступ мигрени. По спине пробежал холодок, тело нехстати ослабло. В шее, плечах и лопатках стало покалывать. Онемение рук не на шутку встревожило. Проницательный читатель безошибочно рассудит: да у вас, батенька, остеохондроз позвоночника. И будет справедливым в своих суждениях. А метрах в пяти от меня с веселым звоном разбилась сосулька, ни разу меня не убив.

Подходя к медицинскому техникуму, увидел ватагу студентов, облаченных в празднично-белые халаты, будущие ангелы смерти, придумал для них утонченный эпитет. Девы в торжественных синих, зеленых колготках, девы, накрашенные, как на юбилей генсека. Плечистые юноши дрожали, озябшие в двух выдохах от нового года. Дым их сигарет стелился над крышами обветшалых машин. В моем детстве у ребят, приезжающих в детский садик на собственном, пусть и неказистом, дедушкином автомобиле, появлялись не иллюзорные шансы схлопотать поцелуечик воспитательницы, что любила надевать тонкую кофточку без бюстгалтера. И когда своенравные коммунальщики забывали включить отопление, мы все с нескрываемым любопытством глядели

на отвердевшие соски воспитательницы. Была красива та воспитательница, была красива. И белая стрекоза любви жалила, бывало, нас по несколько раз на дню. Замедлив шаг, я прислушался к разговорчикам, пылающим в курилке медицинского техникума, склонился к развязавшемуся шнуру. Студенты с придыханием обсуждали предстоящие экзамены, их голоса давали петухов. Они много матерились, реже признавались в любви к Родине. Парень обещал томный вечер подружке, только бы удалось сдать гистологию. Девчонка с глазами чуть раскосыми, зелеными, в оправе темных ресниц, с белой, как лепесток магнолии, кожей. Девчонка, в чьем лице сочетались тонкие черты матери, быть может, аристократки французского происхождения. Сочетались с крупными, выразительными чертами отца, быть может, пышущего здоровьем ирландца. В иных обстоятельствах она могла быть Скарлетт, унесенной ветром из-за собственной худобы. И она ответила юноше, потушив свою тонкую сигаретку, перепачканную красной помадой, о кирпичную стену: ладно.

Существенно позже, когда я редактировал настоящую повесть, этот случай со студентами, волнующимися понапрасну. Мною был несколько переосмыслен. Да, читатели постарше ожидаемо скажут, было бы масло и курочка, стогов и дурочка. Или еще кратче, пусть тренируют мозжечок, пусть не расплескивают на вечеринках серое вещество, учиться это вам не это. На первый взгляд может показаться, тревога завтрашних медиков есть тревога пустая. Может показаться, отчаянно беспокоиться перед экзаменами – что беспокоиться по поводу опавших листьев. Но согласитесь, до чего нежное и поэтичное действие было явлено нам. Ведь, как сказал Валентин Голубев, написать стихотворение это в определенном смысле поставить два слова так, как стоят под венцом жених и невеста, как стоят отец и сын на краю вырытой ямы перед расстрелом. Весьма точное наблюдение, Валентин, весьма точное. Подобные слова мне довелось поставить рядышком, когда я редактировал настоящую повесть. И слова эти посвящены тому безымянному студенту с малиновым экзотическим ирокезом, его переживаниям, его страстям.

Проживающие там-то и там-то  
Под ласковым взором всевышнего,  
По временам обращаясь:  
Прибежище наше,  
На тебя уповаем,  
Да избави нас от паутины ловца,  
Не убоимся ужасей ночи,  
Ветрянки, ОРВИ, гайморита,  
Снаряда, что рассекает  
Бровь нашего старосты  
В разгар понедельника,  
На исходе лабораторной,  
За нашу любовь к тебе,  
За наше познание имени твоего  
Избави нас от каши манной  
С толченым стеклом,  
Сваренной со злым умыслом,  
Избави от взглядов аспид  
В спортивных костюмах  
В сумерках актовых залов.  
Боже, мы твои воробьи,  
Неразумные, неутолимые,  
Вожделенно глядящие  
На мальчика с булкой хлеба,

Мальчика, что нашел пулемет,  
 И сократил популяцию голубятни,  
 Боже, мы твои воробьи,  
 Не ставшие голубьями,  
 Не сдавшие орнитолога,  
 Что наряжается ночью  
 В одяние птицы,  
 Влезая в приоткрытые окна.  
 Мы ли это, шагающие  
 Меж пиlóрам,  
 Шагаем уже пополам,  
 Да по магнитному полю,  
 Пугая наших родителей,  
 Что нас размагнитят,  
 Конечно же, размагнитят,  
 Когда вернутся со службы.  
 Спроси, что в моем кулаке,  
 Известное дело, кузнечик,  
 Я сию на горшке,  
 Обжигающе ледяном,  
 Эмалированном,  
 С дурацким рисунком,  
 Слушая жалобный писк,  
 Боже, я тот кузнечик  
 В твоём кулаке.  
 Прости нас за все прегрешения,  
 За каждое слово,  
 Оброненное впопыхах,  
 Очисти наш разум  
 Для анатомии, гистологии,  
 Цитологии, латинского языка.  
 Сессия напоминает  
 Охоту на воробьев.

В детском кафе «Лимпопо» происходило безудержное веселье. В длинных, до самой земли витринах малолетние гангстеры в кожаных куртках, коротко стриженные, танцевали медляк. Их спутницам, дамочкам в блестящих облегающих платьях, напоминающих рыбью чешую, приходилось согнуться в три погибели, чтобы соответствовать уровню кавалеров. В глубине заведения виднелись сутуловатые спины родителей, мамы и папы сдержанно явствовало за общим столом. Разбросанные по полу конфетти были родственны гильзам, оставленным клоуном-убийцей, салатные шарики, содержащие дыхание участкового, у которого планы на карапузов в кожанках, тоскливо летали по залу. Синяя панелька с проживающей в ней ученицей Чуковского навевала мысли апокалиптического характера. Оконное стекло на первом этаже отсутствовало, вместо него там наличествовали полиэтиленовые пакеты. Кто не жил в двадцатом веке, тот вообще не жил; подобным образом я бы прокомментировал эти пакеты. Во дворе дома худощавая девица в бархатном спортивном костюме с пантерой на груди и клетчатых тапочках детской пластмассовой лопаткой долбила промерзшую землю у самого подъезда. Беспреданно девушка отвлекалась на чесавшееся лицо, археология занятия добровольное, как и наркомания. Напряженно всматриваясь в окно третьего этажа, с горечью отметил, не стоит. На подоконнике Оксаны Витальевны

совсем не стоял пилосоцереус пахикладус, в простонародье голубой кактус. Лидия предупредила, Оксана Витальевна только в том случае принимает гостей, если столь дивный цветок выставлен у нее на подоконник, в иных случаях не принимает.

Лавируя меж каруселей-корабликов на детской площадке, черно-белый одноглазый кот устремился к подвалу, во рту он держал серую ливерную колбасу. Наконец, штора в окне третьего этажа пришла в движение, я увидел, на подоконник робко выставили кактус. У девушки-археолога вырвалось непроизвольное ять, ее щеки цвета финского сервелата горели. Блестящие капельки пота, горькая роса, выступили на покато лбу. Зима была не в силах пленить деву-следопыта, не в силах заморозить ее куриную тушку, накачанную химическими финтифлюшками. Синий кактус, о, синий кактус, я поднялся со скамьи, перешагивая через мышинное тело, распластанное на мерзлой земле, зашагал к подъезду. И снежные ландыши во мху, как серебристый колокольчик, звенели. Или две бутылки водки в пакете у пухлого усатого гражданина в синей спецовке звенели. У Оксаны Витальевны в любую минуту мог произойти культурный инсульт, как у прочих пожилых тетюшек нашего трансцендентального Подмосквья. Представьте, в библиотеки попали экземпляры книг Андрея Бадина «Дюймовочка и Терминатор», этот юноша своим чтивом умудрился попортить нам невообразимое количество старух. На пути к подъезду размышлял, успела ли Бибигон прочесть данный Некрономикон. Мне было важно сделать с нею интервью как у литературоведа здравомыслящего, а не литературоведа поломанного. Я уже представлял, как покупаю сушеный инжир, представлял, как Лидия Снеговая кричит в телефонную трубку слова благодарности за столь изощренное интервью. Дверь с желтыми рекламными листиками, попискивая, открылась. На крыльце показалась ученица Чуковского собственной персоной. Прекрасная дама катила объемную сумку на колесиках. – Почему же вы так долго, вы что, разве не видите мой кактус? – спросила она манерно. Черная кокетливая вуаль, крупная изумрудная брошь Мухи-Цокотухи, лиловое пальто с рыжим пушистым воротничком, шляпка. Вся такая хорошенькая и девяностопятилетняя. С изящными седыми усиками, однако назвать ее тараканищем я бы не посмел, воспитание, знаете ли.

Немедленно, повинувшись профессиональным рефлексам, запустил свой высокоточный диктофон, который с готовностью принялся фиксировать каждый старческий чих этой грандиозной женщины. – Что это у вас на носу? – спросил у нее, целуя ручку, пахнущую ленинградскими духами «Северное сияние». – Что, неужели сопля? – Оксана Витальевна с опасением потрогала свой античный орган с горбинкой. – Новый год, – невозмутимо пояснил я. Стоя на крыльце, мы по своему интеллигентному обыкновению не могли найти нужных слов, каким образом продолжить интервью, чтобы никого не обидеть, такие уж мы интеллигенты. Закурив свою электрическую сигарету, поинтересовался: а зачем вам такая большая сумка на колесиках? Бибигон была выше на полторы головы, она снисходительно погладила мою шапку-ушанку с завязанными на манер зайца ушами, отчего я замурычал по своему интеллигентному обыкновению. – Вы понимаете, Мишенька, нужда толкает распродавать свою библиотеку, – женщина не казалась расстроенной, наоборот, в медово-капустных глазах плясали задорные искорки. Мандариновый клёст-еловик издал свое непревзойденное: кле-кле-кле. Вспорхнул с ветки боярышника, чьи замёрзшие плоды напоминали красные шарики на елке. Дыхание зимы, свежее, словно зелень озимая на оттаявшем поле, кружило голову. Во дворике для прогулок, огороженном сетчатым забором, группа неопознанных детей в каштановых тулупах, скрипя снегом, прогуливалась после завтрака. Воспитательница в черной дубленке, вязаной белой шапке флегматично покрикивала на них. Ученица Чуковского неожиданно попросила о помощи. Я обладал знанием, снегопад, снегопад, если женщина просит, бабье лето ее торопить не спешит. Поэтому ответствовал, целуя повторно ручку Бибигон, пахнущую на этот раз «Ландышем серебристым»: пойдемте продавать вашу библиотеку, что ж делать.

Мы направлялись с Оксаной Витальевной на блошинный рынок и невинно болтали. – А вы знаете, козлик, что Юрий Арабов покинет нас в канун рождества, – внезапно произнесла она. Диктофон беспристрастно зафиксировал эту крамольную реплику. – Да что вы такое говорите, Юрии Арабовы не могут нас покинуть, Юрии Арабовы, чтоб вы знали, живут вечно, – не сдержался. – Ну, смотрите, смотрите, – ее ноги в коричневых шерстяных колготках были свободны от ревматизма. Тетушка шла как породистая лошадь, почти гарцуя. Мне же приходилось тащить эту сумку. Одно колесико крутилось чудовищным образом, я отставал. После слов Бибигон совершенно поник, Юрия Арабова терять категорически не хотелось, мы виделись однажды с этим удивительным писателем в коридорах института кинематографии, я всегда ждал с нетерпением его новых книжек. Так ждут арстанты в колонии полярный волк родственных на свидания. Несмелые снежинки кружились вокруг, не успели потухнуть уличные фонари. Утренний морозец стискивал недвижимый воздух. Рождественский отсвет угадывался в мельтешащих в окнах гирляндах. Откуда-то веяло ладаном, смирной. На блошином рынке было не протолкнуться. Волхвы, укутанные в тысячи тряпок, весьма доброжелательно беседовали друг с дружкой. Пили кофе из термосов, потчевали коллег хот-догами. Вдруг дамочка сказала: на Коктебель, ах, на Коктебель коплю денежку. И мы рассмеялись, влекомые бессознательными смыслами.

Разложившись на пластиковом столике, продолжили наше интервью. Слева расположились два близнеца с непропорционально большими головами, прозванные мною Тотошей и Кокосшей, торговали они самоварами и трофейными находками Второй мировой войны, фашистскими медальками, марками. Справа же тетушка-гиппопотам в розовом длинном пуховике предлагала цветные высокие бокалы, посуду, расписанную под гжель, ежиков из выдувного стекла, старинные брошки, разную кухонную мелочевку. Оксана Витальевна спросила, поправляя стопку детских книжек пятидесятых и шестидесятых годов: Мишенька, вам хочется чего-нибудь погорячее услышать обо мне? Я взглянул на эти детские книжки пятидесятых, шестидесятых годов. – О, горячее, чем беляши вон в том ларьке, – глупо пошутил. Тетушка-гиппопотам закашлялась, близнецы продавали дедушке кортик. Неспешно я стал перебирать наши книги. Юрий Корольков, «Партизан Леня Голиков», на обложке сугробы, хворые березки, мальчик в шубе, за спиной у мальчика винтовка, тонкая, как зубочистка. Пожелтевшая книжка «Улица младшего сына», Лев Кассиль, Крымиздат, пятьдесят первый год. Цвета рябины фолиант Э. Выгодской, «Опасный беглец», «Пламя гнева», на обложке кострище, силуэт человека в этом кострище, вдалеке виднеются очертания куполов. Кремовая книга П. Капицы, «В открытом море». Два гражданина нелепо толкаются на палубе. Мне показалось симпатичным оформление произведения Николая Шундика, «На севере диком». Азиатские ребятишки в национальных кафтанах столпились подле мальчика славянской внешности с красным пионерским галстуком, повязанным на шею. Все улыбаются, жмут пионеру руки. А там, вдали, деревенские домики, снег, дым из печных труб.

Тотошка с лицом нежным, припухлым, спросил, его бабий, визгливый голос вызвал у меня приступ неконтролируемых мурашек: а вы любите похотливых немок? – Не имею интереса, сынок, – ответил ему, поморщившись. – Жаль, – сказал Кокоса, парень с мечтательной, лунатической улыбкой, протягивая старенькие фотографии полутолых девушек с автоматами МП-40. Я помотал головой, призвав не впутывать в политические игры. Наконец Оксана Витальевна закончила выкладывать книжечки по цветам. – Вы знаете, у меня есть одна детская история, может быть, вам она пригодится для вашего интервью, это история исключительного мужества в нечеловеческих условиях, – ученица Чуковского примолкла. К нашему столику подошла местная достопримечательность, мать аистов. То была барышня сорока лет, со впалыми голубыми глазами, льняными бровями, востреньким носом. Полы ее цигейковой светло-коричневой шубы развевались от ветра. Черная шляпа без полей, быть может, клош, нет, не клош. Причудливая конструкция, которую венчало самое настоящее гнездо. Два желтовато-белых яйца притягивали жадные

взгляды граждан. О, цены на яйца, всюду виделись нам диверсии, всюду виделся голод. Уверенная в себе дамочка приобрела книгу Михаила Пришвина о птичках под снегом с дарственной подписью. Сумма была внушительна, полторы тысячи рублей, или же пять килограмм куриного мяса, если переводить на человеческий язык. Мать аистов не проронила ни звука, едва кивнув головой, скрылась в толпе зевак. Довольная свершившейся сделкой, Оксана Витальевна принялась рассказывать о своем детстве. Пальцы мои замерзли, рукавички были не в силах согреть утонченные длинные пальцы, то небольшое прекрасное во мне, помимо израненной души. Литературные критики, знаете ли, могут быть жестоки необычайно.

Свой рассказ ученица Чуковского начала виртуозно. На севере диком, впрочем, патетику в сторону, север как север, это тридцатые годы, истощенные люди, в общем, тяжелое время. Диктофон беспристрастно фиксировал. Мне не к чему жаловаться на детство, мой отец служил в органах, поэтому нам полагался усиленный паек. А вот кому-то не полагался. О чем это я, мое детство пришлось на тридцатые годы, Мишенька. Я росла любознательной девочкой, много читала, тогда же искренне любила сказки Чуковского. Мой отец излишне меня опекал, так мне казалось тогда, но, Мишенька, почитайте, чудовищный голод, случаи краж детенышей человека. Как-то раз я напросилась, не знаю, как мне удалось. Словом, я напросилась пойти с отцом на задание. Кажется, по донесению, какой-то диссидент, какая-то запрещенная литература. Правда, приехали мы на четырех автомобилях. Знаете, нетипично, чтобы за диссидентом вот так. Дверь нам открыл пожилой господин в больших очках, я еще удивилась, какие поразительно бездонные глаза у этого сухонького, горбатенького мужчины с залысиной-озером. Войдя в жилище, взрослые засуетились, хозяина приковали наручником к батарее на кухне. То ли в шутку, то ли всерьез попросили меня присмотреть. А сами, слышу, открыли подвал, топают, ищут чего-то. Чувствую взгляд того господина. Нас разделяет буквально два метра. Он смотрел на меня, не мигая, в уголках рта проступила слюна. А потом он обнажил свои зубы, Мишенька, обнажил. Что я тогда натерпелась, вы и представить не можете. Зубы подпилены, словно напильником, острые. Чувствую, теряю сознание, лицо его близко. И мой отец вбегает на кухню, меня выгоняет, прекращая издевательство надо мною. Выстрел. Я в ужасе куда-то бегу, оказываюсь у раскрытой подвальной двери. Ох, лучше бы я туда не смотрела. Чудовищно, Миша, просто чудовищно, да к тому же дети, ой. Вы знаете, там, в этом отвратительном доме, конечно же, никакого не диссидента, обыкновенного Бармалея, мне попал в руки его дневник. Где он подробно описывал свои кулинарные опыты, рецепты, методы засолки, закваски, разное прочее. И этот дневник сейчас лежит у меня дома, не хотели бы вы проследовать ко мне домой, чтобы утолить свое любопытство?

Оксана Витальевна смотрела на меня в упор, глаза ее поблескивали, щеки ее, напоминающие шкурку печеного яблока, зарумянились, она как-то особенно неудачно раскрыла свой рот, вставная челюсть выпала на стол. И я уверяю, за то мгновение, пока ученица Чуковского вставляла столь интимную деталь организма на свое законное место. Мною были замечены, как будто у маленькой акулы, треугольные, землястые зубки. Повинуясь инстинктам, заложенным в нас предками, я решительно развернулся и зашагал прочь, чуть не плача от досады. Маленькое ранье женщины обернулось испорченным к ней отношением. Диктофон продолжал записывать, хрум-хрум-хрум, шаги по снегу. – Пойдите, рыбка, вы куда, – кричала она вослед, чрезмерно картавя. Совершенно не желая пасть в эту эсхатологическую бездну, покидал блошинный рынок. Мое лицо, отмеченное печатью внутреннего достоинства, надолго врезалось в память тем, кто видел его мельком, глаза были мамыны, все остальное папино, исчезнувшего при загадочных обстоятельствах в возрасте тридцати лет. Прохожие сторонились, гражданка сменила тон: сейчас же вернись к бабушке, вы посмотрите, каков подлец! И все-таки целый вечер мне не давала покоя эта упущенная возможность ознакомиться с дневником истового людоеда. Может быть, старушка его выдумала, может, на старости лет она все-таки прочитала книжку неизвестного в узких



кругах Андрея Бадина «Дюймовочка и Терминатор». И в связи с этим повредилась рассудком, подпилила напильником зубы. Расшифровывая интервью, на моменте с пророчеством женщины о скорой кончине Юрия Арабова предался региональной тоске. Потом обстоятельно отредактировал получившийся текст, отправил его Снеговой. Достал с антресолей рюкзак и начал собирать вещи. На следующее утро я отчаливал в писательские резиденции.

### Глава 3

#### Школьница с дробовиком

Феноменально-глухая ширь взвыла, будто ей прищемили хвостик. Одевшись претепло, я вышел на улицу. Лыжный фиолетовый комбинезон, тяжелые ботинки, черный тулуп из овчины, рюкзак средних размеров. Опять мороз и ветер жгли отвыкнущие щеки. Воскресная лень, бредущая по моему телу, мешала сосредоточиться. До автобуса, что шел в Переделкино, было три версты, однако по такой жутчайшей погоде самый распоследний приبلудный пес носа не высунет из подвала. И вьюга дымилась факелами над головами редких микролюдей из микрорайона. Белесая крупа застилала глаза. Самый настоящий буран терзал меня, стоящего на крыльце тем утром, плавно переходящим в сумерки. Кстати, о псах и о холоде, как заметил довольно-таки сообразительный малый: был хвост прост, мил, свис вниз, врос пес в лед, стыл. И тут же подумалось отвлеченно. Хорошенькое дело, десяток яиц подорожал до двухсот рублей. Добропорядочные филологи назвали слово нейросеть словом года. А в сериале, который с воодушевлением и придыханием обсуждали мои коллеги-литераторы, не глухие, в общем-то, люди, я отчетливо разглядел гомозеротический подтекст. Осталось ококоветь в такую погоду для полного счастья на крыльце собственного дома. Воротившись в подъезд, услышал голос нашей консьержки: эй, литература, куда собрался-то в такой хуис?

Голос принадлежал женщине Алле Геннадьевне Цвигун. Тетушке фанатичной, тетушке догматичной. Падкой до всякого рода учений. Прелюбопытных учений, учений порою смертельных. В девяностых Алла Геннадьевна состояла в ныне запрещенной Аум синрикё. Когда руководитель секты Асахара приехал в Москву, Цвигун удалась даже пожать тому руку. Женщина с гордостью рассказывала, что такой чести удостоился только Юрий Лужков и она. Чрезмерно подвижная, с короткими рыжими волосами, по обыкновению торчащими в разные стороны. Неизменно на шее амулеты какие-то, перья, колечки, куриные лапки. Все это звенит, перестукивается. А эти глаза, невообразимо дикие, один голубой, другой зелененькой. Посмотришь в них, заикаться непроизвольно начнешь. Консьержка обратилась ко мне: что сказать имену, Токарев, девчонка у нас тут из шестого дома была, лет двадцать всего. Мы прошли к почтовым ящикам, там стояли хорошенькие румынские кресла, три штуки. Спросил тетеньку, присаживаясь в зеленое, словно микстура от кашля, в которой уж не сыскать гликодина, кресло: и по какой же причине юная особа нас покинула? Алла рассмеялась, усевшись рядом: захлебнулась собственными слезами. На елочной гирлянде, протянутой вдоль стены, горела каждая вторая лампочка, каждая первая не горела. Консьержка заговорщицки понизила голос: а в кармане брюк, представь себе, нашли твою поэму, ну, ту; конец света в ее постели. Прикрыв глаза, откинулся в кресле. – Теперь даже не знаю, как тебя читать, вот у тебя цитата была, она про что, глядишь, пойму ее неправильно, мало ли чего случится со мною, – женщина отчаянно выпрашивала светскую беседу, на которую у меня была аллергия. – Половые органы подобны ранам, чьи перемежающиеся изливания обрекают мужчину и женщину на нежнейшую пытку, – Алла Геннадьевна шумно нюхнула понюшку вишневого табаку. Ответствовал ей обескураженно, приоткрывая глаза: пф, это цитата Марселя Жуандо, который тоже откуда-то тиснул ее.

Лифт ожил. Электродвигатель лебедки загудел. Тросы завибрировали. Я затянулся электрической сигаретой, словно кит, выпустил носом струйку пара. Из кабины вышло семейство Иудовых в полном составе. Они прожигали на тринадцатом этаже, однако официально у нас в доме отсутствовал тринадцатый этаж, знаете ли, поверья. Иудовы имели при себе добротные пластиковые лыжи «Карелия», видно, собрались на прогулку. Мне вспомнились строчки: вдруг по реке пронесся кто-то на металлических крючках, я побежал скорее к речке, а он бегом пустился в лес, к ногам приделал две дощечки, куда-то потом исчез. Одетые в дутые цветные куртки, Иудовы напоминали совершеннейших модников из начала нулевых. Винтажный стиль, знаете ли. Отец Марк Иванович, педиатр по профессии, мужчина с подкрученными усами, сказал своей жене с удивлением: дорогая, чего-то солнце сегодня с запада поднялось, ты не заметила? Имя супруги от меня всегда ускользало, гражданка являлась не родной матерью дочери Марка. Пухлой и капризной девчонки с налипшими вокруг рта крошками, она постоянно жрала булочки, запиная их лимонадом. По временам, когда мы вскользь виделись на общей лестничной клетке, из ее огромных ноздрей бежали ручейки липкой газировки. А в ушах у нее водились пчелы и муравьи, известные любители сахара. Мачеха, барышня с глазами удивительной красоты, не глаза у нее были, но тревожные желтые цветы. Узкое лицо, высокие скулы. Извечно загорелая кожа. Мягкие каштановые волосы. Любила изящные платья с венецианским гипюром, пошитые на заказ, шарман. Кажется, она была младше меня года на два, порою ее стоны, доносящиеся из-за стены, начинали волновать безмерно. В такие мгновенья уверенно стучал в их красно-дубовую дверь, обнаженный, являя собою словечко желание. Марк Иванович, чуть ли не плача, просил прощения за столь громкие шепоты и крики. Я неизменно просил его пустить меня хотя бы взглянуть на действо. Педиатр спешно закрывал дверь, трогательно умолял меня уйти, все же, спустя, должно быть, минут пять, возвращался с горячим молоком и печеньями. На глазах выступали слезинки, тронутый до глубины души, Миша возвращался домой.

Марк Иванович, когда они вышли из лифта, сказал нам с консьержкой, восседающим в пресвосходных креслах, как будто оправдываясь: а мы вот на лыжах решили до лесу сходить, одну нашу Машеньку не отпустишь, поговаривают, полоумную школьницу с дробовиком еще не поймали. Алла Геннадьевна взвилась со своего места, вязаное черное платье на секундочку задралось, разоблачив пресвосходные ноги, покрытые миленькими синими венками. Она с готовностью подхватила разговор: упала мораль, ой, упала, так и звезды скоро благородные начнут с неба падать, как падает лист с виноградной лозы. Педиатр мелко закивал, не желая никого обидеть. Его супруга с похотливыми ушами, отчего-то мне захотелось назвать их таковыми, отчего, не имею ни малейшего представления. Произнесла недовольно, глядя на падчерицу, чавкающую очередной ромовой бабой: вот уж родили себе госпожу, я устала уже с ней воевать, Маша, тебя опять раздует! Девчонка по-взрослому, с некоторой философичностью сказала, бросив свои лыжи на кафельный пол: и как было во дни Ноя, так будет и в пришествие сына человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, так не случится уже никогда. Мачеха закатила глаза: а недавно заявила, хочу то, чего нет на свете, представляете. Жена Марка ретиво распахнула входную дверь, ее ожидаемо сбило с ног нахлынувшим ветром. Я же в свою очередь понимал, непогода утихнет, вероятно, нескоро, от скуки ввязался в скучную беседу: моя няня, бывало, как напелется брусничной настойки, такая смешная, такая смешная делается, посадит к себе на спину, по квартире ходит со мною, ту-ту, говорит, чух-чух. Консьержка с воодушевлением поддержала: именно так, чух-чух, я могу быть вашей няней. Служительница дома приобняла педиатра. – А что, дорогая, давай найдем Аллу Геннадьевну, в самом деле, – проямлил стеснительный Марк. Поднимаясь, как президент неназванной страны с пола, жена Иванова недовольно сказала: сейчас няни пошли, я бы им джинсу не доверила варить, не то что за ребенком присматривать. Цвигун с ненавистью процедила: ох, и змея, что за гадюку вы пригрели, Марк Иванович, говорит не своей речью. Пожилая тетенька обратилась к молодой особе: ты зачем не своей речью говоришь, знаешь, лукавый меняет личины, кто же тобой управляет.

Дочурка Машенька предотвратила превосходный бытовой конфликт. Кои происходят ежедневно, ежеминутно, по праздникам, в рабочие дни, без перерыва на обед. Малолетка убедительно, словно лейтенантская проза, полюбившаяся Токареву, сказала: ненависть пробуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. – Верно, милая, к чему нам ссориться из-за ерунды, – ухватился за спасительную травинку педиатр. Человеком он был, как вы понимаете, крайне сговорчивым. В подъезде мигнул свет, мне доставляло немалое удовольствие слушать разговоры соседей, завывания ветра напоминали полубезумный старушечий шепот, я расстегнул тулуп, откинулся в кресле. – А мы братика тебе родим, будете в одной комнате жить, – внезапно произнесла мачеха, она стояла у подножия лестницы, потирая ушибленную ногу. Девочка в ответ изрекла: горе тем, кто спит в Сионе и находит себе покой на горе Самарии. – Это еще что значит? – спросила крестиническая жена Марка. Консьержка пояснила, повторно вдохнув своего вишневого табаку: ваша Мария говорит, воспитайте для начала одного ребенка, а потом уже воспроизведите второго. – Хм, Алла Геннадьевна права, – задумчиво сказал педиатр, протирая замшевой черной тряпочкой стекла своих очков. На мой телефонный аппарат поступил звонок, это был куратор писательской резиденции, очаровательная Евгения Петровская. Вынужденно призвал соседей к тишине: закрыли пасти! Женечка радостно заявила: время, отведенное на заселение в гостиницу, продлено в связи с последними погодными событиями. Что ж, подумал обстоятельно, а не подняться ли в апартаменты, не подкрепиться ли рыбными котлетками. Воскресенье было посвящено в нашей семье рыбе. Когда-то мама желала назвать меня Ихтис. По ее признанию, я был таким сладеньким, что она всерьез подумывала меня съесть. Мысль о косточках сдерживала эту великую женщину.

Однако мое решение – составить компанию матери – оспорили убедительно, консьержка предложила педиатру воспитать жену поленом. От подобного хамства у загорелой, не привыкшей к труду девушки отошли воды, хотел бы сказать, но не скажу. Воды вовсе не отошли, младшая соседка, театрально взмахнув руками, медленно завалилась на лестнице. Выяснились некоторые обстоятельства ее тайной жизни, жизни, что называется, на стороне. Вокруг нее столпились граждане, даже Алла Геннадьевна, будто чувствуя вину, шумно дула ей на лицо. – Я беременна, – жеманно призналась потерпевшая. Марк Иванович, пораженный и растерявшийся, только и смог, что сказать дежурное ура, по всему вероятию, робеющий употребить иное слово, по всему вероятию, скромничающий чересчур. Дочка Маша откуда-то извлекла тульский пряник, весьма недовольно сказала: убейте всех детей мужского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя. В очередной раз мне подумалось, сколь увлекательны легенды нашего подъезда. Подъезд наш не уступал по мистическим явлениям городу Обнинску. В котором частенько встречаются лжепророки, у нас одна Машенька чего стоит. Марк Иванович, сняв пуховик, зачем-то бросил его на пол. Оставшись в идиотском красном свитере с оленями, в круглых очках, с закрученными усами, он стал поразительно напоминать песенника Егора Древлянина. – Милая, да ведь это чудо, как же так, мы же всегда предохранялись, – поразился педиатр.

– Изменила, – категорично постановила консьержка. Я тоже стал активно валять дурака: вино льстивых речей вашей супруги стало уксусом шизофазии. Алла Геннадьевна с обожанием посмотрела в мою сторону. – Эх, литература, литература и есть, – подмигнула она. Мачеха пришла в себя окончательно, стала ругаться: а еще пожилая женщина, да как вы смеете, да чтоб вы знали, да обвинять меня, меня. Ее щеки сделались пунцовыми, она в очередной раз отворила подъездную дверь, ритмически ветер перестал напоминать гекзамер. Помните, слепой писатель Гомер, вслушиваясь в чередование волн морского прибоя, сочинял стихи сообразно. Жена Марка Ивановича бросилась в молочную бездну, снега поглотили ее стройное тело. – И не приходи к нам больше, блудница, – с чувством сказала Машенька, причмокнув липкими губами. На глазах педиатра вы-

ступили преждевременные слезы. Поднявшись из румынского кресла, основательно потянулся, размяв затекшие члены свои, обратился к Алле Геннадьевне: Алла Геннадьевна, позаботьтесь о Машеньке, сдастся мне, Марк Иванович на какое-то время недееспособен, а его суженая, можно сказать, аферистка. – Ах, Миша, еще какая, – согласилась женщина. Дочь педиатра подошла к отцу, который сидел на последней ступени, отрешенно глядя на гирлянду. И спросила родственника: пап, можно я вокруг дома на лыжах погуляю? Тот кивнул: конечно, только далеко не уходи. И девчонка тоже бросилась в молочную бездну, девчонку тоже поглотили снега. – Миша, пока не ушли, вы надолго в эти свои писательские Валенсии? – в зеленом глазу консьержки я уловил грусть, голубой глаз был по-прежнему дик. – Две недели, ягодка, две недели, – ласково произнес Токарев. Структурно ветер нынче уподобился белому стихотворению. В этом ветре улавливался некрасовский трехстопный ямб. Из погребенных под молокой небесных рыб автомобилями, доносилось: кому на Руси жить хорошо, кому, кому.

На улице снегов немую белизну прожгли два глаза из тумана. Сосед безуспешно заводил свою копейку, стоило мотору проснуться, он тут же глох, спустя краткое мгновение. Вдруг ощутимо затрясло землю, у многострадальной копейки отвалился бампер. Откуда-то потянуло гарью, горело нечто вон там, за гаражами. Сквозь завывания ветра мне удалось расслышать крик, исполненный довременной меланхолии: хочу жрать, Саша, накорми меня уже! Прямо на припорошенные снегом ступени подъезда опало помойное одеяло воды, которое тут же обернулось коричневым хрусталем. В нашем доме ценились французские традиции, гады соседи, бывало, выливали нечистоты прямо в окна. Подавшись вперед телом, чтоб не сдуло к праотцам, чтоб не стать жертвой бесстыжего циклона Вани. Я миновал злополучную лестницу. Кухтой покрылись ветви деревьев, этот мохнатый иней напоминал белый грибок. Видимость была кошмарна. Ноги норовили развешаться. Пригибаясь к земле, шел в сторону пустыря. В огромную, на половину дороги лужу вмерз, к великому сожалению, сизый кот. Животное было удивительно авантажно. Остановившись, чтобы хорошенько рассмотреть, я существенно рисковал не добраться до автобусной остановки. Однако мне хотелось почтить память этого лучезарного, с пушистым хвостом, котика. Невозмутимый янтарь вечной зимы, значительный, точно охотники Брейгеля, подумал. Подъемок уж не пугал, я всей душой любил мерзлоту, и тут отсутствует мальчишеская бравада. Понимаете ли, не в том возрасте, впечатлять никого нету нужды. Да чтоб вы знали, по мне созывали комиссию два раза ученые мужи, а также их ученые жены, решали чего-то, пораженные моей способностью вглядываться в ничто.

Ощущая себя стационарным зрителем, что вышел в метель, услышав пугающий выстрел. Ощущая себя стационарным зрителем, что вышел в метель в смешанных чувствах, ведь возлюбленная барышня-крестьянка предпочла ему гробовщика. Я, право слово, услышал выстрел крупнокалиберного ружья. Оглушительный взрыв порохового заряда вспугнул ворон, развешанных на ветках сосны, задержались птицы, однако прочно пристыли. Черные тельца, словно стеклянные игрушки, стучаясь между собою, звенели. По глубоко личным впечатлениям, выстрел произошел в районе пункта приема цветного металла. Это была она, школьница с дробовиком, вероятно, ей хотелось новых сережек. Не зная, устроит ли ее никель, медь, цинк или олово. Проверять даже не собирался. Спешно стал улепетывать из тех мест. Навстречу, взрыхляя снег, брели спортсмены, закутанные в десятки шарфов, за спинами хоккейные клюшки, сумки с коньками. Обогнув пустырь по дуге, вышел к супермаркету. Из-за стеклянных дверей на меня грустно установились десятки пар глаз, дверь замело, или заклинило. Граждане обреченно следили за мною, автобусная остановка была через дорогу, по дороге почти не проезжали машины, видно, в такую погоду попугивались даже водители. Всегда чувствовал трепет пред своими согражданами, что в здравом уме и трезвой памяти садятся за руль своей самобеглой коляски, паромобиля, дилижанса. О, нет, нет, что вы, позапрошлым летом в собственной квартире я не впился в поворот и сломал мизинец на правой ноге. А ведь шел рассказать невинный анекдот своей матери. Представьте,

сколько честолюбия должно наличествовать в водителе, чтоб он взял на себя ответственность за жизнь постороннего человека. Порой сомневаешься, брать ли ответственность за себя, нет, решительно не понимаю подобного расточительства.

Рейсовый автобус, лимонно-горчичный, четыреста десятый, кем-то прозванный луноходом. Водитель не манкировал своими обязанностями, по-джентльменски не раскулачил старуху, чья сутулая фигура проступила внезапно в снежной дымке на проезжей части. Вопль клаксона вспорол тишину, кто-то в очереди справа от меня настоятельно попросил увести детей, убрать от экрана кормящих грудью. Послышались восклицания, не видные в этом фригидном тумане граждане узнали конкретную старуху. – Ой, это наша соседка Клавдия, она же того, – поразилась тетенька густым голосом. – Та ли Клавдия, что пролежала одна в квартире два года? – деловито уточнил дяденька. – Та, та, мумифицировалась, – по слога произнесла сложное слово мальшика пяти лет. – И что же, вот она ходит по району? – отчаянно пугался молодой человек. – Бросьте, абсурд, просто похожая бабка, воспитали поколение идиотов, призраки, призраки, а вы попробуйте перестать быть проклятыми и убитыми, – принялся увещевать пожилой господин. – Правы, товарищ, их еще называют снежинки, слышали такое? – поддержала некая женщина. – Причем тут снежинки, я говорю, у нас бабка два года в квартире сверху пролежала, ни гугу, воняло знаете как? – говорила дамочка, узнавшая Клавдию. Меж тем автобус подошел к остановке, сограждане чинно проследовали в салон. Челюсти их стучали, словно кастаньеты, ноги выбивали чечетку. Изъеденные зеленоватым светом люминесцентных ламп лица казались изможденными. Водитель, грузный седовласый индеец, спешно закрыл двери, не желая выстуживать нутро автобуса более. Я положил пятьдесят рублей одной бумажкой в соломенную шляпу, что лежала подле кучера с бордовым лицом, орлиным носом и високосными глазами, вмещающими, будто восьмой день недели, видевшими, как будто тонкие миры. Четыре одиночных сидения, семь парных, оскальзываясь, побрел в самый конец. Обтянутое гладким кожаном кресло закрипело под моей задницей. Стекла, покрытые толстым слоем инея, были не в силах показать места памяти, нас везли в неизвестном направлении.

Передо мной уселась пожилая чета. Она надела узкую, короткую юбку, чтоб казаться еще стройней, однако существовала вероятность подцепить цистит, эта барышня с химической завивкой, синими веками могла подцепить цистит. Я опознал в ней Валентину Толкунову, кабы не было зимы, должна была сказать она своему спутнику. Но вместо этого фыркнула недовольно. – Сережа, это не та планета, ты опять ошибся, – только и произнесла. Вероятно, Сергей, гражданин с черешневыми губами, дряхло-растленным, аристократичным лицом, в кашемировом пальто цвета медвежьего ушка, снял темно-синюю шапку-петушка. Импозантно промолчал. По длине пауз в их разговоре я понял, что жили они вместе лет двадцать, не меньше. Полуотвернувшись друг от друга, они обиженно безмолвствовали. Воспоследовавший путь в Переделкино сопровождался пространными размышлениями. О том, как в экосистеме ротовой полости размножается кариес. Думал также о скрипе колес, запрятанном в толщу снега. Думал о том, сколько частиц дурдомов, наших квартир мы переносим на своей коже и волосах. Значит ли это, что мы улитки, раз переносим на себе частично наши квартиры, дурдома и работы. Подышав на стекло, мне удалось организовать амбразуру. В которой мело, мело по всей земле, желтые огоньки волчьих глаз провожали автобус. Свирепствующий буран пограл вещественность, уступая место мечтаниям. Одолевшая меня дремота могла обернуться летаргическим сном. Приняв клопиксол по рекомендации лечащего врача, чтобы избавиться от этого стойкого ощущения не той планеты, вольготно вытянул ноги, да к тому же зевнул. Прельщенный ароматом касторки, разлившимся по салону. Ненавязчиво пела радиоло: я хочу найти сама себя, я хочу разобраться, в чем дело, помоги мне, помоги мне, я хочу, чтоб моя душа тоже пела. Одишенек на последнем ряду, теряясь в снегах республики комы, уснул.

Совсем скоро транспортное средство приостановилось. Индеец не спешил открывать двери, пассажиры молча сидели, где-то завывали волки. Раздался уверенный стук, от которого вздрогнула женщина, сидящая передо мной. Водитель шумно вздохнул, распахнул переднюю дверь, куда немедленно вошла девушка. В салоне зашептались, кто-то даже перекрестился. Вот так встреча, говорят в мыльных операх. Свекольные щечки гражданки, должно быть, отличались особенной сладостью, однако никто не решился бы их опробовать, в миг бы лишился своего языка. Барышня была опасна. Она воспитывалась на французских романах Габриэль Виткоп, Пьера Гийота, а следовательно, ненавидела мещанские проявления жизни. Ее улыбка по воздействию на людей была подобна вдыханию нашатырного спирта. В этой улыбке сочетались величие россомахи, способной убить добычу, превышающую собственный размер в пять раз. И депрессивный Бердяев. Деревянный крест на груди, крест, вспотевший от огня. Черный платок на голове, не менее черная шубка. Небезызвестная Лавиния Ворон вошла в автобус, прошла до самого конца салона, села рядом со мной. Поговаривали, что она вольный каменщик и принадлежит к старейшему русскому масонскому ложу, глупости, конечно. Язык дом бытия, у нее бытие было готическим, как Нотр-Дам де Пари. Бывало, мы беседовали в приемном покое наркологической клиники, застигнутые врасплох этим капиталистическим миром. Слушая размышления Лавинии, мне становилось несколько тошно. В самой оптимистичной новости она видела крошечную тьму. Кошка спасла охотника, сбежав из дому, привлекла внимание спасателей, два дня он кушал одни ягоды да грибы. Дева сказала бы: но ведь он все равно умрет, какой в этом смысл.

Подышав на стекло, заметил: мы ехали по Минскому шоссе, вот-вот должна была наступить писательская резиденция. – Здравствуй, – сказала Лавиния голосом бархатным, голосом одноцветным. Нехотя повернулся к ней и вынужденно поздоровался. Моя ровесница, но выглядит лет на семнадцать. Эти литературные критики, эти подонки существенно меня потрепали. Ворон была дочерью зажиточного гробовщика, отсюда, полагаю, увлечение и бесконечное любование потусторонними штучками. Помнится, два года назад она желала венчаться с одним патологоанатомом, гражданином схожих взглядов. Подобной холодной зимой ехала в часоленку, хлопотала метель. Жених, застигнутый непогодой, добраться не смог, потом он воевал где-то в Африке, там же где-то пропал. – Он живет на Марсе и медленно исчезает, пока люди сжигают его книги, – несла околесицу Лавиния, хотя, откровенно говоря, по паспорту она была самой настоящей Олей Морковкиной, а в школе Олю Морковкину дразнили тыквой в связи с полнотой. Однажды она принесла черную курицу на урок ОБЖ, потом принесла белую курицу на рукоделие. Одноклассники не могли взять в толк, чего же добивается эта замкнутая, всегда в черной одежде Мария Лаво нашего класса, слухи о так называемых практиках вуду были эфемерны и ничем не подкреплены. Преимущественно наши ребята тяготели к гуманитарным наукам. И образованная не по годам девчонка, прекрасно разбирающаяся в анатомии, не на шутку пугала. Впрочем, переходный возраст штука прекрасная, даже Ольга Морковкина, полагаю, вспоминает те времена с улыбкой, хотя и не признается себе.

– А я снова выхожу замуж, – оповестила Ворон. Подпрыгнув, автобус начал стремительно заноситься вправо. Граждане слетели со своих мест, точно курицы с насестов. Ойкали сдержанно. Влекомое силой притяжения, мое тело было брошено на алтарь истории. Сограждане были беззащитны, словно инвалиды детства, перед этими транспортными неурядицами, чекистами, Микки-Маусом, вредной пищей, телевизионным магазином, где продавали ерундистику. Придя в себя на полу под сидением, ощутил дыхание Лавинии на своей щеке, горячее девчачье дыхание обожгло мою щеку. – Мы можем обсудить мое предстоящее венчание, я думаю, тебе любопытны обстоятельства, – насадала Ольга Морковкина. Ребра подвывали псом, которого пнул тяжелой кроссовкой, потому что был не в духе, подросток. Тяжело поднявшись, обратился к нашему водителю: уважаемый водитель, подскажите, далеко ли до писательского городка? Бывшая одноклассница с разбитым о поручень носом не желала отставать: наверное, мы умрем с ним в один день,

наверное, я счастлива. – Лучше живите здорово и вечно, Морковкина, следите за зубами, а также коленями, – поучал я, перешагивая через тела своих соплеменников. – Но ведь это противоречит концепции забвения как абсолютного смысла. – Морковкина, не допускай халатности по отношению к собственной жизни, она у тебя двухколесная, не потеряй колесо, – упорно соскакивал с разговора. Распластавшаяся бабушка в сером пуховике ухватилась за мою ногу, ее пальцы напоминали коренья петрушки, сельдерея. Позади важно шагала Ворон, безуспешно пытаюсь нагнать. Что ж ей так захотелось побеседовать, девчонке со сложным характером. Индеец водитель произнес, прикуривая сигарету: километра два до писательского городка, вон, выйдите на шоссе, не потеряйтесь. – Увидимся! – вскричал я, прыгая в открывшуюся дверь. Позади почти рыдала Ольга: когда увидимся? О, с какой ностальгией она вспоминала школьные годы, а теперь кусает локти, не в силах найти толкового собеседника, надеюсь, с женьитьбой у нее в этот раз получится. Однажды она покусала целую учительскую собаку, потому что та отказывалась сожрать стопку тетрадок с нашими домашними заданиями. Дикая женщина, Лавиния Ворон.

Разразившись снегопадом, погода расписалась в собственной полноценности. Помнится, позাপрошлой зимой была слякоть, и позапозапрошлой зимой была слякоть. А теперь наша земля, слившись с небосводом, стала неотличима от иных экзопланет, покрытых беспросветными льдами. Подумалось, именно на той, нужной планете я сошел с автобуса четыреста десятого. А семейная чета, оставшись в салоне, даже не знаю, довольна ли выбором. Верно подметил некогда писатель-фантаст Иван Ефремов: крупные хлопья снега из замерзшего аммиака или углекислоты, медленно падая сверху, придавали окрестности тихий покой земного снегопада. В отдалении чернели сарайчики, утробно гудела электричка. А прямо через овраг – там в церквушке зеленел колокол. Прекрасная иллюстрация услышанной молитвы, метель, на время которой закрывают школы в день экзаменов, а потом забывают открыть. Я побрел нетвердой походкой в сторону шоссе, размышляя о чем-то незаурядном.

## Глава 4

### Лошки

Слезки жгли и терзали мое сердце, то были слезы мнимого исцеления. Я плакал в редчайших случаях. И чтобы добиться от меня столь искреннего признания в психической нестабильности, вам необходимо было дать мне довольно-таки серьезный повод. Проваливаясь по колено в сугробы, шел мимо переделкинского кладбища, где упокоилась добрая половина наших отечественных писателей. Черные, куцые деревья были зловещи, впрочем, какими они могли еще быть. Что за поводы вы мне дали, каким образом вам удалось извлечь из меня эту солоноватую, девчачью влагу. Поводы дали не вы, отчего-то приемник в моей голове настроился на Елену Камбурову. Все, все уснули до рассвета, лишь зеленая карета, лишь зеленая карета мчит, мчит в вышине, в серебристой тишине. Звучали стихи Генриха Сапгира в исполнении Елены Камбуровой. По обыкновению, когда звучат стихи Генриха Сапгира в исполнении Елены Камбуровой, я безудержно рыдаю, парадоксально. Сиротливый грузовик, расслаивая светом габаритных огней снежную мглу, вальяжно проехал по дороге. Наконец я смог различить метрах в трехстах горящие окна гостиницы. Из трубы приземистой будки охраны валил дым. Серые губки дыма стремительно рассеивало. От ветра закладывало уши, ветер напоминал бормашину. В моих лобных пазухах словно танцевали агрессивные подростки в тяжелых ботинках с металлическими мысками. Снег, набившийся в сапоги, жалил габонской гадюкой. Впрочем, пусть уж зеленая карета, пусть уж слезы. Самое главное, не вражеские радиостанции. Войдя в резные ворота, неуверенно пошел по направлению трехэтажного, с упрощенными архитектурными формами,

кирпичного мотеля. У добротного зеленого домика, где некогда повесился поэт и сценарист Геннадий Шпаликов. Синий трактор, взрезая своим ковшем снежные пласты, расчищал дорогу. Интенсивное свечение, испускаемое фарами, очертило беседку с двумя креслами-качалками, в них сидели голубоватые дворники, важно курили трубки. По узкой тропинке, которую прямо на глазах заметало очередными снегами, рысью бежал черный пес. Его тело, словно капля чернил, стремительно поглотила еще большая тьма. Несколько сот метров ковылял, подсвечивая путь фонариком телефонного аппарата. И, кажется, искренне улыбался добросовестной зиме.

Тяжелая металлическая дверь, толстое стекло, исписанное изморозью, читалось с трудом, как будто бы по слогам. Я был все тем же отсталым парнишкой, не сумевшим вовремя поменять картину мира, как наиболее сообразительные одноклассники. Механика Ньютона, не теория относительности. Насилие, не пацифизм. Сняв красные варежки, схватился за удивительно ледяную дверную скобу. Влажная, потная кожа, словно коллективный детский язык, не разумеющий, отчего это страшно умные тети, дяди не позволяют на морозе нам качели лизнуть. Пальцы прочно приклеились. За мгновение до того, как открыть дверь писательской гостиницы, кое о чем вспомнилось. Глядя на изморозь на толстом стекле. Вспомнилось об инее на голубых казенных стенах комнаты для свиданий в ангарской колонии для малолетних отступников. Куда меня привела бабушка для встречи с другом, Павлом Джемом. Ему исполнилось четырнадцать, мне исполнилось только десять. Мы воровали старушек на улицах. Несмотря на столь юный возраст, я понимал ценность женщин пенсионной эпохи. Убедив Павла в том, что пожилые барышни, современницы Сахарова и Курчатова, поведают нам нечто великое, способное навсегда перевернуть наши фрарерские жизни. Мы организовали самую настоящую банду, однако ничего принципиально нового об устройстве вселенной так и не прознали. Дверь писательской гостиницы со скрипом открылась. На дверной скобе теперь значились кусочки моей литераторской кожи. Этакое болезненное послание для Павла, которого несправедливо закололи в пьяной драке.

Внутри расправили световые перышки хрустальные люстры «Спутники», скорее, люстры напоминали одуванчики. Теплый, приглушенный свет как будто лепил из предметов церковную утварь. Просторный холл вмещал будку с надписью: эклеры, эклеров нет, режим работы с десяти до пятнадцати. Несколько журнальных столиков с фотографиями Константина Паустовского, Анатолия Рыбакова, Булата Окуджавы. Похрипывала светло-каштановая радиолы, черная пластинка с голубой сердцевинкой крутилась с лентой. Бордовые бархатные занавески причудливым образом рифмовались с девятью гвоздиками, что стояли в бежевой вазе на стойке регистрации. Длинный зеленый ковер, по которому шел, пружинил. В узоре ковра опознал птиц, оскал гепарда, цветочки. Меня стало укачивать на печальных звуковых ухабах. Тут уж не в силах вам подсказать, что за ковер, чье производство, Карабах, Казах, Куба, азербайджанский, болгарский. Шульженко предлагала невообразимые вещи, желала, чтобы мы с нею закурили по одной. Но я отчетливо видел синюю надпись возле входной двери: в номере не курить. И все шел и шел к стойке регистрации, она как будто удалялась соразмерно шагам. На гранитной стене висела картина на спиле дерева, вероятно, ручная роспись: березки, озерцо. Несколько капелек моих кровавых упали на ковер. Разлапистая пальма едва не явилась причиной падения. Девушка приветливо закричала, ее расплывчатый силуэт маячил вдаль: добрый вечер, а вы заселяться? Мы заселяться, добродушно подумал, продолжая упорно шагать. Предчувствуя новый приступ невообразимой хандры, остановился у рыжеватого стола с начертанной на нем шахматной доской, расставленные фигуры, были готовы к войне, мы еще не были готовы к войне. Глубоко вдохнул, резко выдохнул. Закрыв глаза, досчитал до десяти. Едва слышался запах эвкалипта, куриных котлет, вишневого компота, бытовой химии. Жаба в груди расслабила челюсти, сердце забилось в ритме танго.

Девушка в красном пиджачке, белой блузке за стойкой регистрации, улыбнувшись, представилась Ольгой Глебски. – Вы полька? – спросил я, дзынькнув звоночком. – О, мой дедушка по



маминой линии был поляк, занимался частным сыском, – ответила задорно барышня. И тоже зачем-то дзынькнула. Прищурился глаза, смог разглядеть ее как следует. Блондинка лет двадцати пяти, голубые глаза, как будто изобличающие необыкновенно холодную душу. Впрочем, эта крупная дева не переставала благожелательно улыбаться. Придвинув к ней паспорт, увидел кровавый след, алая борозда пересекла темно-коралловую столешницу. Барышня как будто этого не заметила. Ее пальчики лихорадочно застучали по клавишам. – Вы знаете, у нас всего два постояльца на данный момент, один писатель и поэтесса, – между делом сказала Ольга Глебски. – Хм, – сказал я, – надеюсь, мы не поубиваем друг друга. – А вообще, у нас тут Борис Пастернак все вдохновение выпил, – залиvisto рассмеялась барышня. – Простите? – спросил, облистав сухие, официальные, что ли, губы. – Пацаны не извиняются, – озорничала девушка. Господи, прогони дурь из голов моих сограждан, подумалось с грустью. – У вас номер сто семь, это в самом конце коридора направо, там, где бильярдный стол, – Глебски протянула ключ-карту в конвертике канаречного цвета. – Благодарю, – проявил галантность я. Собрался было уходить, как услышал протестующий голосок девы: постойте, постойте, понимаете, у нас для постояльцев-писателей традиция есть. Ольга нырнула под стойку, вынырнула со стаканом и блюдцем, на котором лежали три шпротины. – Вы знаете, мы тут все восстановили, каждый номер нашего пансионата выглядит так же, как выглядел в семидесятые годы, когда сюда приезжали великие литераторы, – тарыхтела она. – Хм, – сказал я. Ольга Глебски поставила передо мной блюдо и стакан, одобрительно кивнув. Однако, видя замешательство Токарева, произнесла: позвольте в память о бесчинствах и веселье, случавшихся в писательском городке, предложить вам это скромное угощение. По инструкции, сделав два глубоких выдоха, на последнем выдохе задержал дыхание. Не выдыхая воздух, опрокинул содержимое стакана в себя. Ощувив нестерпимый жар в своем желудке, резко выдохнул через рот. А потом степенно закусил сразу двумя шпротинами, галантно высказавшись: мерси.

Побрел по этому нескончаемому фойе в сторону бильярдного стола. Сомнений в том, что я выпил чистый спирт, не было. Когда же мне довелось пить алкогольные напитки в последний раз, вероятно, больше года не пивал, не пивал, нет. Вот за такими нехитрыми размышлениями приметил одну выразительную деталь. Тело мое будто бы воспарило, мысль сделалась чиста и прозрачна. Добрый херес, ударяя нам в голову, разгоняет витающие в мозгу пары грубости, глупости, делает ум живым, пылким, полным игривых образов. Славный херес, он согревает кровь, ведь, если кровь холодна и неподвижна, то печень ваша бледна, что служит признаком трусости и малодушия. Я с интересом взглянул на черную печатную машинку «Москва», у нее запала литера Б, и стояла она на низком подоконнике. У моей машинки частенько западала литера альфа. Если продолжать странные метафоры с арифметическими задачками. То мой лыжник, вышедший из пункта Б в далеком две тысячи третьем году, до сих пор не пришел в пункт А, где о нем благополучно забыли. В груди разлилось тепло, но я не был излишне пьян. Оказывается, барбитураты несколько сдерживают опьянение, дорогие читатели. Миновал двери первого коридора. Оригинальная система корпусов писательской гостиницы выдавала в архитекторе Эрнсте Мае человека, не следующего по пути пуританства. В бесконечном фойе, пока мы шли, нам повстречались такие коридоры, как бы сказали мои образованные сограждане, le couloir. Так вот, помнится, четыре коридора, каждый из которых начинался площадкой с двумя нумерами, затем шла лестница. Иными словами, Эрнст Май решил не делать уличные подъезды, он решил разместить корпуса таким образом, чтобы писатели не имели нужды лишний раз выходить на мороз.

Напротив третьего корпуса за стеклами навесной витрины углядел пожелтевшие письма. Сощурившись, прочитал. «Весной 1932 года Максим Горький писал Константину Федину: в Москву еду с проектом; отобрать человек 20–25 наиболее талантливых литераторов, поставить их в условия полнейшей материальной независимости, предоставить право изучения любого материала, и пусть они попробуют написать книги, которые отвечали бы солидности вопросов времени».

Вопросы времени мы прекрасно позабыли, Максим Горький, пройдя курс электросудорожной терапии, правда, разыскали ответы, но кому они теперь нужны, в самом деле. До бильярдного стола, что напоминал полуденную лужайку, вытопанную сотнями детских ножек, оставались считанные километры. Глубоко затянулся электрической сигаретой, позади пела Ирма Сохадзе, пластинка безбожно шипела, быть может, это джаз на костях. Темно-зеленое бархатное полотно на ощупь напомнило голову одной девочки, гордой носительницы стригущего лишая, а также приверженки куртизанских взглядов. Испещренные трещинами шары из слоновой кости, вдруг медленно покатались. Мистические вещи творились вокруг, пластинку заело, Ирма Сохадзе угрожающе повторяла: зачем кричат попугаи, зачем, зачем, попугаи, зачем, кричат. Форточку распахнул ветер. Прижигающий мои раны сквозняк вольготно понесся по холлу. Меньше пить или же меньше закусывать, от сомнения и поверхностного атеизма подумалось некстати. Левое ухо заложило, мысль продолжала набирать высоту. Взлетая под самые облака.

Последний, четвертый корпус, корпус, где предположительно мне следовало провести две недели, был совсем близок. На стене возле распахнутой двери с окном висела памятная табличка. Фрагмент повести Инны Лиснянской. «В начале семидесятых переделкинский дом творчества состоял из трех коттеджей и главного корпуса, построенного в 1955 году в стиле сталинского ампира. На каждом этаже, а их всего два – общие душевые, общие уборные (мужская и женская), однокочные номера и двухкочные (если писатель приезжал с женой, и наоборот). Одноместные комнаты похожи на пеналы, высокие потолки только подчеркивали пенальность, делали номер еще более узким. В пенале помещались письменный стол перед окном, полутораспальная кровать, тумбочка, платяной шкаф, кресло для отдыха – большое, плюшевое, по-домашнему уютное, и два стула. Если постараться, то между креслом и шкафом можно было втиснуть раскладушку или узенькую оттоманку, что я и делала. Рядом с дверью, с двух сторон обитой дерматином, – раковина, и над ней кран-елочка, и выше – зеркало. Увы, не всем приезжающим в дом творчества охота среди ночи ходить в уборную, и часто, когда я въезжала, от раковины подолгу несло мочой. Не помню, кто из нас, Арсений Александрович или я, так называли наши номера, находившиеся друг против друга, но откуда бы мы ни возвращались втроем, за рулем, естественно, – его Татьяна, Тарковский неизменно с тоскливой усмешкой повторял: “Возвращаемся в родные пеналы?”»

На втором этаже меня встретила беспризорная тележка, груженная бутылками воды «Байкал», пакетиками кофе и чая, аккуратно сложенными белыми полотенцами. Мне вспомнился балагур Бальзак и его пятьдесят порций кофе, выпитых за день. Бывало, я тоже злоупотреблял кофе, бывало, становился таким дурным, что показывал неприличные жесты воробьям. Ученики спрашивали, кому вы, Миша, грозитесь. А воробьям, вон, полетели, сосредоточенно говорил. Но ведь, Миша, в классе нет воробьев, тут лишь мы, дети с поразительными особенностями. Ну, знаете, возражал им, ничего-то вы не знаете, а Саша Николаенко, между прочим, получила премию Ясной поляны. Позвольте, недопонимали детишки, это же чудесно, ритмически одаренная проза, почти поэзия, имеет право на жизнь, а вы, Миша, из этих. О, мои многозначительные дети, эти не подпустят меня к своим премиям и на выстрел из водяного пистолета. Пышный персиковый ковер шуршал, отзываясь на мои шаги. Сто седьмой номер, третий этаж, два номера на одной лестничной клетке. К электрическому замку приложил ключ-карту, пискнуло интеллигентно, так пищат мышки в библиотеках, пи-пи-пи, число пи. Ручка не поддавалась, электрический замок принялся вопить, как будто пожарная сигнализация. Приложил пластиковый квадратик повторно, потянул скобу вниз, дверь в апартаменты открылась вовнутрь. Оказавшись в прихожей, увидел узенький коридор, оканчивающийся каштановой дверью. Слева вешалка, справа начинается спальня. Развоплотившись, нет, нет, что-то не то, плоти я не терял. Только сбросил тулуп, разулся, влез в белые гостевые тапочки.

Мельхиоровые подстаканники, электрический чайник на писательской конторке, но в отличие от конторки, конторки, где плоскость расположена под углом, вы могли видеть такую на черно-белом снимке, там Алексей Николаевич вынужден делать записи в положении стоя. Моя конторка могла похвастать плоскостью, расположенной обыкновенно. Плотно задернутые бордовые шторы. У окна клетчатое кресло, такое же красивое, как румынское из нашего подъезда, у кресла торшер. Постель на двух человек застелена серым покрывалом, пышные подушки, словно разжиревшие лебеди. Прикроватные столики, две штуки. Из рюкзака вынул увесистую стопку оборотных листов для заметок, бросил на кровать, гелевые ручки тоже бросил. Взял одну из двух бутылок «Байкал», что была на столе, влил все содержимое в чайник, включил. Присел в кресло, чехословацкое, не меньше, подумал одобрительно. Встал. Белые гостевые тапочки скользили по паркету-елочке. Выключил люстру, зажег торшер, стремительно чайник вскипел. Словно через капли смолы глядел на комнату, длинная тень кружки напоминала дом на набережной, о котором писал Трифонов. Там литературовед Вадим Глебов прямо сейчас доблестно предает любимую девушку и отца этой девушки предает, чтобы сохранить свою карьеру. Подойдя к столу, заварил себе чаю, сразу же два пакетика опустил. Увидел книжную полку, подошел к ней. Световое щупальце не доставало до корешков, поставив кружку на комод, вчитался в названия. Там были Астафьев, Хемингуэй, порнографический роман Потемкина, на обложке вульгарная девка, восседающая на огромной улитке-фаллосе, журналы «Вокруг света». Кажется, книги выбирали на вкус проживающих в номерах писателей. Едва слышно лопата скребла снег. Мое хриплое дыхание нарушало заведенный порядок, посторонних звуков, что транслировались бы напрямую в голову, не было. УВБ-76 прекратило вещание. Поразительное безмолвие окружало Токарева.

Внезапно я ощутил присутствие незнакомца в своем номере. В душевой кто-то настойчиво мылся. Немало усилий приложил, но все-таки вышел в коридор с зажатым в руке туристическим ножом. Способным вспороть плоть свиньи для рождественского ужина. Из-под тонкой полоски в самом низу двери выходил пар, он клубился, белесым туманом стелился по полу. Медленно шел, считая от десяти до нуля. Некто напевал полонез Огинского, блестяще имитируя струнно-клавишный музыкальный инструмент клавесин. Мой нож был готов разобрать, точно утку, незваного гостя. Глубоко вдохнув, я с ужасом понял: не помыл руки. Самое страшное свершилось. Ведь смыть ваксу и чернила с лица это наше человеческое предназначение. Чтобы не сойти с ума от мыслей о собственной греховности и нечистоплотности, отворил дверь. Представшее предо мною действо совершенно сбило с толку. Обнаженный полнотелый мужчина предприимчиво натирался желтой мочалкой. Стеклопанель душевой была распахнута. Бренная пена морская, дробясь о гранитные, в сетке сосудов, ноги, пенилась. Пахло фиалками волн и гиацинтами пены, гель для душа выбран с особенным вниманием к деталям, пронеслось в голове. Стоя ко мне спиной, он даже не подозревал, как близко подобралась холодная сталь клинка. Непредвиденно мужчина запел рокочущим голосом: хорошо быть чистой каплей и таить в себе миры! На полу стопка одежды: белые плавки, синие носки, джинсы, оранжевая футболка. Вздрогнув, я по нелепой случайности опрокинул металлический баллон освежителя воздуха. Дзынь.

Медленно повернувшись, гражданин пятидесяти лет воскликнул: вот уж алмазный свой венец надеть я не успел, до чего неловко вышло! На змеевике висело большое темно-синее полотенце с чайками, облаками, белым парусом вдали. На своем веку я видал голых людей, поэтому не особенно впечатлился данным происшествием. Однако близкое присутствие человека со столь изысканными манерами вызвало во мне одновременно восхищение и какое-то опасение. – Мы тут с коллегами выбирали мэра комнаты, в общем, так вышло, меня попросили подать в отставку, – паясничал он, заворачиваясь в полотенце. Я сверлил незнакомца взглядом, по-прежнему не убирая выставленный ножик. – Да вы не переживайте, вас нет, душ у меня барахлит, а ключик подходит, – он сделал поспешный шаг, острый, ледяной кончик уперся в широкую грудь. Ситуация была поистине выдающейся и пикантной. Гражданин отступил, подняв руки, как будто сда-

ваясь. – Меня зовут Константин Алтаев, я писатель, а вас как зовут? – спросил он почти жалобно, почти по слогам, точно разговаривал с отсталым ребенком, очень опасным отсталым ребенком, коим, в сущности, являлся Токарев. – И что же, хороший писатель? – задал ему навояющий вопрос, убирая клинок в карман. Мужчина одевался поспешно. – С переменным успехом, – ответил он, застегивая ремень. Представился ему: Миша Токарев, дали вы, конечно, маху, вспугнули меня, как американцы жителей Никарагуа в восьмидесятых. Гость рассмеялся, мы проследовали в коридор. – А вы страстный молодой человек, мне довелось прочесть эти ваши романы, стильно, хотя и страшно временами, почему-то мне на ум приходил умирающий от голода Хармс, когда я читал эти ваши романы, – новый знакомый льстил. Однако я не спешил его останавливать, самое драгоценное качество художника есть полная, бесстрашная независимость его суждений. Суждения Константина напоминали мне то самое драгоценное качество художника. Мы стояли в дверях, когда я спохватился: что же мы, два литератора земли русский, не выпьем даже чайку.

Константин Алтаев, разулыбавшись, вежливо отказался: ах, мало у меня глаголов, больше, знаете, существительных, выпить мы с вами всегда успеем, но кровать в моем номере зажалась писателя, пишущего с переменным успехом. Мужчина вышел на лестничную клетку, я же расположился в дверном проеме. Коллега не спешил прощаться, мялся чего-то. – А вы не знаете, тут поблизости есть аптека? – спросил у него, поглаживая гладкий пластиковый электрический замок на двери, словно это была грудь робота. Все так же, не переставая загадочно улыбаться, он отвечал: нас окружает больше предметов, чем это необходимо для существования. Его сощуренные, воспаленные от недавнего купания глаза не моргали. Пауза излишне затянулась. Алтаев поспешил заполнить ее буквами: ближайшая аптека на станции, а вообще, молодой человек, не поймите меня неправильно... Пальцы в кожаных сандалиях писателя зашевелились. Я отметил про себя, носит сандалии без носков, не наш человек, кто ж без носков-то. – Что же я могу понять неправильно после того, как вы своевольно помылись в моем душе? – спросил у него, теряя интерес к беседе. – Да так, показалось, к слову, над чем вы работаете в данное время? – Константин переходил границы дозволенного, наверное, переходил, спрашивать, над чем работает литератор, в самом деле, над чем. – Сначала сами скажите, над чем работаете вы, – стал плести паутину из психологизмов я. – Пожалуйста, повесть для детей и юношей, рабочее название: завтра я вступлю в десант, а в кармане у меня будет антидепрессант. – Хм, – сказал я, – тема любопытна, любопытна, да. – Снизу послышался хлесткий удар кия по шарам, незамедлительно покатились. Шипела радиолка, слов было не разобрать. – А предыдущий сборник мемуарной прозы носил название: русское инородное, – Алтаев почесал грудь, обтянутую оранжевой футболкой с надписью «кино», литера О явлена в образе солнца. – Что ж, Константин Алтаев, на чай вы не решились, разрешите откланяться, – сказал ему. – Да-да-да, доброй вам ночи, – произнес коллега, спустился на один лестничный пролет. Закрывая дверь, услышал: Миша, я живу под вами, вы, если что, не теряйтесь. Дробно хлопнули двери, Алтаева и моя.

Балконная дверь открыта, кресло придвинуто к окну. В оцепенелом беспокойстве застыл на границе комнаты. Я смотрю на писательские дачи, преимущественно двухэтажные, сразу за ними начинается густой лес. Зима в Обломовке нынче безветренна. По узкой улице Серафимовича медленно едет, пробуксовывая, тонированная девятка. Свет ее фар выхватывает памятные таблички на заборах. Дом В.П. Катаева, музей К.И. Чуковского, здесь в июле сорок первого года Константин Симонов написал «Жди меня», на этой улице, в этом доме Льва Кассиля, в комнате на втором этаже. Здесь жила Мариэтта Шагинян, а здесь останавливался Рождественский. А вот в спальне дачи номер четыре застрелился Александр Фадеев, литературный министр, автор двух романов. А тут Евгений Андреевич Пермяк в пятидесятых годах сочинил своего чижика-пыжика. Борис Пастернак именно в этом доме отказался в тридцать седьмом году подписывать коллективное письмо по сфабрикованному делу маршала Тухачевского и прочих военачальников, которых вскорости расстреляли. А во дворе этой дачи Константина Федина осенью сорок первого года

вырыли траншеи, а потом люди использовали их в качестве бомбоубежища. Уличный указатель: здесь начинаются дачи, каждую из которых закрепили за определенным писателем пожизненно и бесплатно. И свет фар этой тонированной девятки, пока она ехала, пробуксовывая, осветил подобные памятные таблички, номера, заборчики, разное прочее осветил.

Елки, облачившись в белые платья, зимой пошитые на заказ, не используя иголки, выстроились у самого забора, коим была огорожена территория резиденции. Трактор гудит, лопаты скребут. Во дворе желтой дачи Корнея Чуковского растет причудливое башмачное дерево. Детские босоножки, кроссовки, ботинки, розовые и голубые ленточки висят на ветвях. Я глубоко затягиваюсь электрической сигаретой, на подоконнике дымится чашка с тремя пакетиками кофе. Во мне бытует некоторое количество фармакологической нежности. Бесчинствующее воображение старательно подсовывает образы детства. Шкафчики с носорогом-строителем, волком-волшебником, зайчиками на велосипеде. Садясь в кресло, вытягиваю ноги, теперь они на балконе, в то время как туловище в помещении, втиснуто в помещение. Башмачное величавое дерево во дворе желтой дачи Корнея Чуковского в некотором смысле пугает своей вещественной многозначностью. Впотьмах лишь заискивающий, несмелый свет фонаря слегка подсвечивает обувь малого размера, смотрю. В писательских домах по улице Серафимовича все спят. По крайней мере, внучка Валентина Катаева, что живет в дедушкином доме до сих пор, спит. Окна дома Валентина Катаева умолкли. Впервые за долгое время мне хочется написать стихотворение о детях. Явление столь редкое, требующее определенной внутренней работы по деконструкции себя взрослого. И я пишу такое стихотворение о детях, назвав его ласковым словом: лошки.

А не испить ли нам крамбамбули,  
 Настоянной на корице, гвоздике,  
 Вишневых костях  
 По случаю встречи  
 Таких бонвиванов, как мы.  
 Вы хотите дерябнуть,  
 Что ж, похвальное дело,  
 Однако скоро обед,  
 Боюсь перебить аппетит,  
 Не сочтите мои экивоки  
 За дерзость,  
 Впрочем, коллега,  
 Моя застарелая травма  
 Дает о себе знать,  
 С возрастом язва желудка  
 Особенно портит застолья.  
 Кстати, вы помните нашу Фифи,  
 Ту самую, что некогда  
 Подавала вам знаки внимания.  
 Конечно же, помню,  
 И что с ней случилось.  
 Видите ли, нагуляла живот,  
 Спуталась с черномазым,  
 Бедняжка фрустрировала,  
 Да, полнейший цугцванг  
 Наступил в ее жизни,  
 Еще бы чуть-чуть,  
 И привет дом скорби.

И что же тот Мавр,  
Должно быть, богат.  
Что вы, беден, церковная мышь,  
Говоря откровенно,  
К тому же, судим,  
Представьте, вилочкой заколол  
Своего господина.  
Да что вы, коллега,  
Неужто столовою вилкой,  
Той самой вилкой «Антошка»,  
Да прям-таки заколол.  
Истинно вам говорю,  
Вилкой «Антошка», с зайчиком.  
А не прописать ли нам ижицу  
Строптивому Мавру,  
При всем уваженье, коллега.  
Да как вам сказать,  
Поговаривают,  
Его порешили крестьяне.  
Саша и Петя, нам долго,  
Долго вас ждать,  
Вся группа вас ждет,  
Что за дети такие,  
Сейчас же встали с горшков,  
Я сказала, встали с горшков,  
Бог ты мой, опять все в говне,  
Не дети, а катастрофа.

## Глава 5

### У меня была жена поэтесса

Пробуждение выдалось очень даже хорошим, я бы сказал замечательным. Кожа моя источала удивительный аромат лука. Токарев, или мсье Чиполлино, свесился с грандиозной двуспальной кровати. Приоткрытая балконная дверь за ночь впустила так много снега, так много снега. Заструги, оформленные ветром узкие, оледенелые гребни виднелись у плитуса. Стаканы покрылись инеем. Медленно встал, включил чайник, припал к полу, принялся отжиматься. И пока Аркадий Драгомощенко считал Богов, как месяцы, по косточкам рук, я не совсем понимал, сколько здесь нахожусь. Время могло идти, как ему вздумается, по прямой, по диагонали, зигзагом, наискосок. Быть может, проведенное мною время в писательской резиденции равнялось недели, быть может, одной ночи. Выпил утреннюю половинку кветиапина, запив стаканом кипятка. Воспитанные мальчики пьют в день половинку кветиапина, воспитанным мальчикам не чужда забота о собственном здоровье. Стал размышлять, высунув кончик языка: по-прежнему ли в состоянии сочинить седьмую повесть для господина Белкина, не потеряна ли сноровка в писательском деле. Времени было девять, завтрак начинался в девять тридцать. За окном лишь поземка. Неприступная, холодная красавица зима выдержит ли свой характер до узаконенной поры тепла. Мне бы хотелось, чтобы выдержала. Кстати сказать, у нас две зимы в году, весны, лета, осени нет. Правда, позапрошлые декабрь, январь и февраль выдались особенно слякотны, и я не написал ни строч-

ки. Вспомнились подробности сна, пока делал махи ногами. Стремглав бросился к писательской конторке, к своим оборотным листочкам.

А снилась мне целая повесть. Понятное дело, необходимо быть Павлом Пепперштейном, по меньшей мере, чтобы проворачивать такие дела. И записывать собственные сновидения, как что-то действительно заслуживающее внимание. Павел Пепперштейн, обратившись к нейросети, написал книгу рассказов. Видится мне, этот опыт созвучен опыту осознанных сновидений. Так вот, Арнольды Шварценегеры работают в поле, плугами вспахивают землю, солнце печет, воздух переливается бабочками среди чудного изобилия ромашек, скабиоз и все такое прочее. И, представьте себе, происходит форменное безобразия. Чужие, или же ксеноморфы, жуткие инопланетные чудовища с продолговатыми черепами, двумя парами челюстей, острыми хвостами, кислотной кровью. Без объявления войны нападают. Мотив пришельцев не до конца ясен, известно лишь, не по обмену опытом они прилетели. Силы неравны, в деревне бушует пожар. Бабы бегают, отбиваясь коромыслами, визжат: Арнольдик, Арнольдик! Шварценегеры, обвешанные патронташами, у кого в руках ТОЗ-БМ, у кого ИЖ-54, они доблестно сражаются с ксеноморфами, стреляют. Но, к сожалению, силы неравны. Во второй главе мужественные Арнольды обращаются за помощью к трактористам из соседнего села. Трактористы, в свою очередь, Сильвестры Сталлоне, вооружившись арматурами, топорами. Вступают в этот неравный бой. Примерно на второй главе детали сновидения рассеялись. Отложив ручку, бумагу, поспешил умыться.

Мое временное жилище было чрезвычайно комфортно, комфортно словно камера норвежского преступника Андерса Брейвика. В комментариях к очередной новости о том, как этот подлец жалуется на старую модель игровой приставки, а также на одиночество. Мои сограждане негодовали, в шутку ли, спрашивали, как им попасть в тюрьму Норвегии с такими прекрасными условиями содержания. Я прошествовал в ванну. Ванная комната напоминала ванную комнату отеля «Оверлук». Белой ромбовидной плиткой были покрыты стены, пол, кажется, даже потолок, вы как будто находились внутри большого яйца, вы как будто птенец, вы чистили зубы. Миша Токарев чистил зубы, не обделяя вниманием дальний ряд, моляры, премоляры и даже зубы мудрости. А еще размышлял, неплохо бы дать непохожие концовки для разных регионов. То есть повесть для библиотеки Норильской школы окончится, например, иначе, нежели повесть для библиотеки кожно-венерологического диспансера где-нибудь в Ставрополе. Впрочем, от идеи с двумя, а то и с тремя уникальными эпилогами пришлось отказаться. Итак, завершение приснившейся повести: Арнольд Шварценеггер возлежит в шезлонге на границе Узбекистана и Казахстана, на море Аральском попивает прохладный кумыс. Конец восьмидесятых. Его подруга, кудрявая Луиза Рипли в бирюзовом купальнике на соседнем шезлонге одухотворенно смотрит вдаль, затем пальчиком с красным ноготком поглаживает грудь своего кавалера. Приговаривая: Арнольдик, должна признаться тебе, к несчастью, я изменила тебе с агрономом Джеки Чаном, к тому же я беременна, от кого неизвестно. Шварценеггер, пораженный до глубины души, отвечает Луизе оплеуху, отчего девушка слетает с шезлонга. Гражданин искреннее негодует, на его глазах выступают солоноватые слезы: да как же так, нам ведь на свадьбу тетка нагадала долгую, счастливую жизнь, а ты, а ты. Довольный произведенным на себя эффектом, намылил душистым, с календулой, мылом лицо. И предпочел поразмышлять о концовке героической повести при иных обстоятельствах, поразмышлять над повестью под рабочим названием: женщина терминатора; несколько позже.

От гостиничного корпуса до столовой было всего ничего, метров четыреста. Синий трактор одинокой притих у беседки. Склонившие макушки березы сделались кружевными арками. Погода стояла безветренная. Тетерев смольный с красными, пышными бровями вылез из-под снега, переночевал там, в тепле, шумно взлетел, улетел, улетел. Сугробы, переливаясь розово-голубым, высились до самого горизонта. Глебски, когда проходил мимо стойки регистрации, вручила мне

крем для рук, видно, вчерашний инцидент с кровавыми следами вызвал в девичьем сердце щемящую тоску, пожалела. Термометр на стволе дуба показывал минус пятнадцать. Хрустящий наст под ногами напоминал глазурь на куличе, пошло я сравнил хрустящий наст с глазурью, а что поделаеть, дефицит идей. Вблизи трапезная оказалась местом футуристическим, местом из стекла и бетона, как будто бы руку к ее созданию приложили отъявленные конструктивисты. Скользкое мраморное крыльцо, в предбаннике постелен искусственный газон. Школьные вешалки в нашей коррекционной школе были такие, мой тулуп единственная верхняя одежда в этом гардеробе, вы можете пробежать своими пальцами по карманам, не ошибетесь. Иду, оскальзываясь, по коридору мимо музейных витрин, в которых томятся реликвии, цветастый пиджак Евгения Евтушенко, кожаный пиджак Булата Окуджавы, пожелтевшие книжки с дарственными надписями. Еще одна печатная машинка, на этот раз «Украина», у нее запала литера У. Едва слышалась музыка.

Получившееся БУ вызывает грустную усмешку, я прохожу мимо зеркала во всю стену. И не вижу своего отражения.

Шершавый голос Эллы Фитцджеральд, пианино. Голос Эллы Фитцджеральд, затопивший пространный зал. С десяток овальных столов, а вокруг панорамные окна, за ними видны котельная, снежное поле, аллея. Поскрипывающий паркет, мое хриплое дыхание. Весьма бледный азиат в черном пиджаке, белой сорочке, алый платок повязан на шее, кивнул: доброе утро. – Доброе утро, – киваю в ответ. Сколь хмурый официант, подумалось. Смольные волосы, посередине пробор. Он указал на шведский стол в противоположном конце зала. Предупредив, что меда нет, но завтра он будет. В этой столовой литераторам предназначался самый шведский из всех шведских стол, выданный мною в заграничных сериалах. Прочие же посетители, коих, впрочем, и не было, вынуждены были платить по счетам, чтоб отведать чего-нибудь. Вскользь глянул на меню и на цены. Бог ты мой, мне бы не хватило накоплений на сберкнижке даже на оплату завтрака. Там, в гражданской жизни, по нечетным воскресеньям продавцы выносили продукты с истекающим сроком годности на задний дворик ресторана, особенно были удачны сырники, привык, в общем-то, завтракать, чем пошлет бог. Я подошел, в пузатом котле манная каша, в салатнице, имеющей силуэт рыбы, нарезанные овощи. Металлическое, глубокое блюдо, в нем квадратики запеканки. В графине апельсиновый сок. В термосе чай, в ином термосе кофе. Бананы, яблоки, груши лежит в зеленой фруктошнице. Щипчиками накладываю омлет, два сырных бутерброда, пучок лука, дольки зеленого перца, несколько помидоров, отношу к ближайшему столику, возвращаюсь. Наливаю полную чашку кофе, возвращаюсь. Накладываю кашу, добавляю в нее кусочек сливочного масла, добавляю в нее две чайные ложки варенья клубничного, возвращаюсь.

Руки лежат на стеклянной столешнице, Элла Фитцджеральд поет: устрой себе маленькое рождество, мой голодный дружок, устрой его. Благодарю за пищу, прикрыв глаза, хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избавь от лукавого. В зал вошла женщина лет сорока в платье-рубашке с короткими рукавами, платье у ней наполовину белое, наполовину оно черное. Лицо у незнакомки лисье, синие стрелки на глазах, она прищурилась и стала напоминать прекрасного удмурта. Волосы пепельные, короткие, прическа паж, как у Мирей Матье. Распустившийся голубой цветочек папоротника в июньскую полночь, такую метафору мог бы подобрать пылко влюбленный старшеклассник. Однако гражданка не интересовала никоим образом, впрочем, окружающие люди предпочитали делить мои слова на два. Дамочка о чем-то переговорила с официантом, направилась к столику с нами. Пораженный столь вкусной манной кашей, разомлел. И сердце мое сделалось будто бы хлебным мякишем, из которого можно было лепить все, что угодно. – Вы позволите отзавтракать с вами? – спросила она томно. Утренняя пора совершенно не располагала к подобной томности. – У России нету границ, у меня тоже, – ответил ей с некоторым недоумением. Женщина принесла себе кофе, сосиски, круассан и салатик. Мы безмолвно потребляли пищу. И вдруг она произнесла: меня зовут Элла Одинцова, вы, должны быть, читали мои стихи.



Сделал вид, что не читал, помотав головой. – Ну, как же, посрамленное молоко убежало, а грибы зашагали на юг, я стояла, ждала у вокзала, что приедешь ко мне ты, мой друг, – она кончила декламировать. – Да, – сказал я, – когда река встает, а облака плывут, и лед между двумя людьми тронулся, любые слова бесполезны.

После каши наступила очередь омлета, чей несравненный аромат вскружил мне голову. – Уже рассвет темнеет с трех сторон, а все руке недостает отваги, – патетично сказала Одинцова, подливая из фляжки коньяк в свой кофе. – А ведь любовь зубная это боль в сердце, не правда ли? – поинтересовалась она. – И в печени, – поделился наблюдениями я. Отвлечшись от омлета. Элла сходила за новым круассаном, вместо кофе взяла стакан апельсинового сока. И вновь принялась донимать разговорами, где не было победителя, любая сторона в таких разговорах в проигрыше. Витийствующий зануда понесет невосполнимый кармический удар, а слушатель испортит себе аппетит. – Как вас зовут, вы лирик? – спросила. – Миша Токарев, – скупо произнес, не прожевывая проглотив кусочек хлеба. – Но вам лет двадцать семь, почему же вы Миша, почему не Михаил, вот если бы вы, как Евгений Баратынский или Николай Гумилев, отслужили в армии, вы бы перестали быть Мишей, – складно щебетала поэтесса. А я был абсолютно нем, поглядывая на гардероб. Одинцова, не стесняясь официанта, который, подбоченясь, смотрел на нее, выпила прямо из фляжки. – Может быть, вы пишете для подростков, тогда понятно, почему Миша, какое ваше любимое произведение для подростков? – я покончил с омлетом, бутербродами. – «Сигнальщики и горнисты», – напряженно сказал. – Это многое о вас говорит, – Элла подарила многозначительный воздушный поцелуй. – А что вы тут пишете, Элла? – вынужденно спросил. Подумал еще, в скором времени мне исполнялось двадцать восемь, а я совершенно не представлял, в моем возрасте каких девочек следует окучивать, двадцатилетних, или же тех, которым около сорока. – В данный момент я занята написанием поэмы о женщине на грани нервного срыва, – ответила поэтесса, надкусывая круассан. Продолжила, растягивая слова: предыдущий мой сборник, минное поле любви, возымел небывалый успех среди членов союза писателей. Я инстинктивно поморщился, делая краткий глоток горького кофе. – А что это вы нос воротите, между прочим, потомки творческих людей видны по организации сознания, и когда вы морщитесь, это выдает в вас типичного пролетария. – Чем же вам не угодил пролетарий? – зачем-то продолжил этот скучный диалог. Дамочка перевела тему, увидав мои деликатные шрамы от кошачьих когтей, схватила за руку зачем-то. – Вы не из тех мазохистов, которые берут лед, берут соль, – поэтесса не успела договорить, к нам подошел официант с подносом, он забрал грязную посуду.

Покончив с завтраком, поднялся из-за стола, картинно поклонившись. Одинцова совершенно захмелела, сказав: я, кажется, читала ваш роман, там, где мальчик ехал к своей бабушке, как у Павла Санаева прямо, ничего своего. – Да постойте же, вы знакомы с Ниной Берберовой, вам необходимо с ней познакомиться, она на вас напишет чудную рецензию, – Элла держалась как непослушный ребенок, за карман моего пиджака. – Послушайте, дамочка, мы хорошо провели время, но любой суп несколько ограничивают мухи, так и литераторов ограничивают женщины, – поспешно прошался. Послышался звук отрываемой ткани, карман льняного серого пиджака остался в руке собеседницы. – Какая неловкая тебе попалась хищница, – сказала она, прильнув ко мне, окатив своим алкогольным дыханием. – Теперь мне, что же, необходимо загладить вину, пришить вас нитками страсти, – договорить Элла не успела. Я перебил: не стоит ходить глаголем и свататься ко мне, вы, кажется, перебрали сегодня. – Ну, тогда хоть проводите меня, – сказала, отступая. И вот мы идем в гардероб. Она надевает черную тяжелую дубленку, какие носили в нулевых. Повязывает песочный шерстяной платок на голову. Она напоминает мне автобус «Икарус», которого боялся Виктор Цой. И далее размышляю, литератору не стыдно бояться женщин. – Спасибо, что не убежали, а дождались, я тронута, – смеется Одинцова, нагоняя меня в стеклянных дверях столовой, шуршит искусственным газоном.

Проходя мимо старого корпуса, белого двухэтажного здания с колоннами, увидели принаряженную елочку, красивую, точно слово жоjobа. – Вы посмотрите, какие шарики, красное пламя наших грехов, – сообщила поэтесса. – А вот Елена Шварц говорила, что когда-то крестилась в огне, вы бы не хотели попробовать так же? – съязвил я. По узкой тропинке шла группа азиатских туристов, слушая в наушниках экскурсовода, мы с тетенькой попали под обстрел вспышек их фотоаппаратов. – Вы женаты? – спросила, икнув, она. – В разводе, – ответил. – А где вы с ней познакомились? – Элла оскальзывалась, приходилось поддерживать ее за локоть. – Мы познакомились во время следственных мероприятий, мое племя с теплотрассы породнилось с ее племенем, что проживало в злчном подвале, на почве преступной деятельности, – пошутил я. – Поговаривают, что, замерзая, ничуть не чувствуешь боли, слабеешь, тихонько засыпаешь, блекнет все вокруг, а потом проваливаешься в реку теплого молока, в мир и покой, – произнесла глубокомысленно. Мы шли с ней к гостинице, словно два обморока, каждый погруженный в собственные пучины творческого хаоса. Поскрипывал снег. – Пойдемте ко мне в номер, будем пить бром и читать Апокалипсис, – она почти завалилась, с трудом удерживал Одинцову от полного краха. – Встретимся на обеде, Элла, – отнекивался, почти затаскивая безвольное женское тело по ступеням. Ольга Глебски приветливо закричала нам со стойки регистрации: аккуратней, она же ударяется головой! И вправду, поэтесса особенно неудачно стукнулась о витрину. – Вы не можете мне дотащить, в каком номере она остановилась? – спросил служительницу гостиницы. Внезапно Элла трезво сказала, поднимаясь с пола: в сто шестнадцатом, и вовсе я не пьяна, знаете ли, профессиональное, необычайно быстро пьянею и так же необычайно быстро трезвею. Довольная произведенным эффектом, она погладила меня по щеке, походкой вальжной направилась ко второму подъезду. – Вы уже познакомились со второй нашей постоялицей, как я рада! – произнесла Глебски, зачем-то дзынькнув колокольчиком. Я же поспешил к бильярдному столу, поднялся в свой номер, заварил очень крепкий чай, открыл балкон.

Поэтессы виделись мне Валаамскими ослицами, по временам они закатывали глазки, бились в падучей, всем своим видом показывая, о, сколь загадочная романтичность первенствует в нас, постоянных авторах журнала «Полутона». Но, позвольте, размышляя, прогуливаясь по комнате, семь шагов в длину, пять в ширину. А какое у вас отношение к женскому поэтическому алкоголизму, Токарев, об этом нам расскажите. Что ж, алкоголизм поэтесс, пишущих поперек в разноланной тетради, не признающих никаких авторитетов, будь то литературовед Марк Липовецкий с рассказами о неоромантизме в русской поэзии двадцатого, двадцать первого века. Или же размышления Ильи Кукулина о лирике советской субъективности. Явление, способное всерьез пошатнуть психическое здоровье мальчишек, окружающих данных Сапфо. Правда, иной раз читаешь неизвестную тебе мастерицу, восторгаешься, как восторгается мать первому слову ребенка. А потом живо интересуешься, уважает ли мадмуазель литературоведа Марка Липовецкого с его неоромантизмом двадцатого и двадцать первого века. Знает ли, кто такой Кукулин Илья. Не знаю таких, говорит. Не знаете, ну, слава богу, значит, ваш взор не затуманен затейливыми речами белых мужчин. Давайте тогда вместе разрушать Карфаген, а восстановим потом. Вы знаете, говорит поэтесса, хочется мне стать всем и ничем даже не пожертвовать, такое возможно, Токарев? Молчу, не в состоянии подсказать ничего дельного. В номере пахло хвойными, старой мебелью, едва уловимо апельсиновой кожей. Сажусь за конторку, пишу чего-то.

Некогда у меня была жена поэтесса. Познакомились мы с нею на группах анонимных невротиков. Малышка Абигейл, где ты сейчас, ужель ты не видала, что происходит с разведенными женщинами, какому разврату они предаются, стоит им только вырваться из ежовых рукавичек своих мужей. Она пришла туда впервые, перед ее слезами стояли полуденные глаза. На пушистых ресницах лежала пыльца. Вздернутый нос всхлипывал, я протянул платок хлопковый, с рыжим котом. Увлечшись гречишным медом, барышня была не в силах перестать любить сладкое. Ловушка Винни-Пуха захлопнулась, недостижимая ремиссия, словно потерянный хвостик Иа,

утратилась в лесу Эшдаун. Мы с нею быстро сошлись, снимали комнату. Работал на каком-то предприятии, не помню каком, съехал от родителей. Она познакомилась с поэзией Ольги Горпенко, ставшей позднее второй любимой поэтессой, Елена Шварц да Ольга Горпенко. Какие же чудные строки, читатели, какие же чудные строки, какая тяжелая судьба, Ольга: имена и фамилии недоказуемы, и друзья не восстанут на голос судьбы, эта музыка, молча, в себе унесу ее, улыбаясь загадочно, как в забытьи. В комнате становится душно, расстегиваю рубашку, решаю снять ее вовсе. Сажу за столом в одной белой майке, в клетчатых красных брючках. Чай допит, включаю чайник. Вспоминаются иные строки Горпенко, записываю, чтобы не забыть: это просто понять, это знают смысленные, эту чашу должно в одиночку нести, ненасытную, полную, неразделенную ни раздать, ни испить, ни пролить, ни спасти. Завариваю еще чай, предаюсь меланхолическим размышлениям. Веером разложенные на столе оборотные листы с пометками, схемами: так легче пишется, думается. Хожу по комнате, припоминаю речь, речь Абигейл. Чрезвычайно волнуясь, голос у нее дрожал, я глядел на нее пристально. Подобным образом глядит ребенок на котенка в приюте. Значительно позже, когда мы жили вдвоем, меня посещало чувство. Знаете, читатели, агенты Штази некогда проникали в дома диссидентов, переставляли там вещицы с места на место, потом уходили незамеченными. Так они воздействовали на неугодных, психологически. Абигейл проникала в мою голову и переставляла мысли, путала.

Позвонила милой куратор Евгения, поинтересовалась, все ли у меня хорошо, спросила также, как назову произведение, над которым работаю. Призадумавшись на мгновение, ответил: жгучий дембельский поцелуй Токарева. – Ох, – произнесла она, – что-то социальное? – Не исключено, – рассмеялся, она робко рассмеялась в ответ. Отчего-то пришло на память, как в разгар очередной ссоры сообщил Абигейл о своем решении отправиться в армию. Жена чванливо известила о собственном равнодушии относительно военного дела. Граждане в военкомате категорически запретили связывать судьбу с оружием, твое оружие блокнот да цветные карандаши, рассказали они. Вечером того же дня, вернувшись дембелем домой, был встречен женою не очень-то и радушно. – А если бы ты не вернулся, как бы я воспитывала нашего предполагаемого ребенка? – спросила она. Потом неожиданно заговорила о Януше Корчаке, который мог не поехать в лагерь смерти, потому что немецкий офицер в детстве читал короля Матиуша, был тронут подобной встречей и разрешил не ехать. Однако польский писатель, глядя на детей в вагонах, отказался, отправился с ними. Абигейл, но ведь ты ненавидишь деток, возразил я. Как будто не слыша, она продолжила проводить эту странную параллель. Газовая камера, Корчак идет вместе с ребятами, подадут газ, тела ребятшек, обнимающих Януша. Абигейл, ты спятила, какая газовая камера, нервничал, призывал жену расшифровать метафору. Она грустно вздохнула, как вздыхала тысячи раз до этого, допила из высокого бокала свой апельсиновый ликер с веточками хвои. Сбросила свой васильковый халат, вошла в ванную. Нерпой занырнула в пучину, вынырнула, закурила. По обыкновению, она сочиняла стихи, плескаясь в ванне. В тот раз, когда я вернулся дембелем, жена не оценила мой кантик, данное происшествие расстроило больше всего. Приятное, словно кошачье покусывание за ухо поутру, воспоминание о семейной жизни. Шумно пролетел самолет, затряслись стаканы и кружки. Кажется, писательские жены просили некогда руководство перенести аэродром, ведь мужья, работающие над произведениями в этой самой рукописнице, отвлекаются на шум. Не помню, в каких годах они просили. Мне удается ухватить речь своей бывшей жены, услышанную на нашем первом свидании на группах анонимных невротиков.

На основании преобладающего,  
 Во мне такого воздушного,  
 Словно термин безе,  
 Словно ночь в складках плиссе,  
 Иными словами, ведь иные,  
 Иные воззрения

Ошеломляюще тихие, разные,  
Можно сказать, контрапункты,  
Можно даже привести факты,  
Когда ощутила себя поэтессой,  
Что подавали на завтрак,  
В какого цвета тетради  
Одноклассник мой Тео,  
В которого была влюблена,  
Рисовал выходы из Освенцима,  
И как в графских развалинах  
Соседки по парте,  
Чья мать была парикмахером,  
Завелись вши.  
На основании этого чувства,  
Весьма зыбкого чувства  
Я и построила свою идентичность.  
А потом позабыла,  
Позабыла на долгие годы  
Аксельбанты созвучий,  
Анафоры сладких стонов,  
Неудачно прыгнула замуж,  
И ножка моя подвернулась.  
Уходя, уходи без всякого исключения,  
Говорила ему  
На фоне гибнущих яйцеклеток,  
Запретов, запретов,  
Я и не помню, как это случилось.  
От реальности к употреблению,  
От употребляемых до употребленных,  
От стихотворения,  
Разбившего окна  
До стихотворения в ложке,  
Растопленного с первым снегом.  
Тут можно же анонимно,  
Не называя фамилии, имени,  
Что-то заговорила?  
Можно, похлопаем  
Нашей сегодняшней гостье,  
А еще у нас печенье и кофе,  
Все это бесплатно,  
Желает кто-нибудь высказаться?

Накануне ужина, между шестью и шестью тридцатью я наконец отвлекся от работы. Пропущенный обед ни в коей мере не расстроил. Торшера свет голубкой бился в моих руках. Спертый воздух в комнате, одышка, как после прогулки на лыжах. Писанина способна изрядно вымотать. Когда пишешь всерьез, ощущаешь себя институтом семьи в Афганистане, существует ли он, кто же скажет. Внезапно послышался крик. Неизвестная женщина, не совестясь, извлекла этот совершенно невообразимый вопль. Что за бездонные недра у гражданки, подумалось. Она закричала повторно, стихла. В затекшей спине покалывало, руки тряслись, а легкое возбуждение сменилось опустошением. Я направился к входной двери, накинув на плечи тулуп, вышел на лестничную

клетку, рассмеявшись неведомому. Спустившись в фойе, был встречен коллегами, настоящее столпотворение царило у стойки регистрации. Константин и Одинцова о чем-то спорили, Глебски не было на посту. – Что же произошло, пирожочки? – спросил у них, скривив лицо, непроизвольные, односторонние тонические сокращения поразили меня. – Ааааа! – закричала поэтесса, появление Токарева застало ее врасплох. – Ольгу Глебски кто-то зашиб, милый друг, – весьма импозантно произнес Алтаев. Радиола молчала, где-то едва слышно жужжала муха, должно быть, некстати проснувшись посреди этой вечной зимы. – Чудовищно, просто чудовищно, – частила Элла, на ней было джинсовое платье с большими карманами, губы, покрашенные черной помадой, напоминали два тела бабочек траурниц. Новость, преподнесенная коллегами, оказалась проявлением очередных несправедливостей жизни. Ольга, кто бы мог подумать, такая улыбочивая, надо же.

Константин прошел за стойку регистрации, спросил: вы не хотите взглянуть, вас это может заинтересовать, как тонкого знатока? – Вы отвратительны, зачем вы фотографировали бедняжку, что вы понаписали в своем ничтожном блокнотике? – пристыдила Алтаева поэтесса. Я встал на носки, упершись руками в столешницу, однако кроме длинных женских ног в чулках ничего не увидел. – Послушайте, это же фактура, это не значит, что у меня какие-то там отклонения, – оправдывался за собственный интерес к танатосу коллега. – В самом деле, бремя страстей человеческих особенно не чуждо хорошим литераторам, – поддержал Константина я. Одинцова фыркнула. И вдруг выключился свет. Фойе погрузилось в крошечную тьму. Последнее, что увидел, премилая картина, скакун в доспехах на рыжем коне. Картина висела рядом с белыми круглыми часами на двери комнаты для персонала. – Мне это совсем не нравится, мальчики, – послышался голос Эллы. – Идите на звук, господа, – откуда-то слева говорил коллега. Выставив руки, сделал пару шагов, пока нечаянно не обнял Одинцову. – Добрый вечер, гражданка поэтесса, – произнес я. Женщина придвинулась вплотную. Нежно зашептала: вы напоминаете мне крошку Цахеса, пусть ваши умственные способности оставляют желать лучшего, надо признать, вы обаятельны. Мы замолчали. Вспыхнул огонек зажигалки. К нам подошел Константин. Алтаев сказал: я тут нашел туалетную бумагу. Он стал поджигать кусочки туалетной бумаги, вспыхивая, как Джордано Бруно, кусочки падали на паркет, прогорали. Порочный свет успевал осветить наши ноги. Зеленые лакированные ботинки, синие колготки Одинцовой. Кожаные сандалии, мохнатые ноги в оливковых шортах писателя. Красные клетчатые брючки, белые тапочки вашего покорного докладчика. – Какая-то ерунда происходит, – поделилась наблюдениями Элла, не переставая обнимать. Ее любознательные руки скользили по моему телу. Стоит признать, приятное чувство, подобным образом ошупывают любимых детей, где болит у тебя, милый ребенок, где бо-бо.

– Господа, предлагаю нам с этой минуты не сметь разделяться, предлагаю нам, господа, воспоследовать ко мне в номер и держать круговую оборону, печать распада, что лежит на Ольге Глебски, имеет насильственный характер, – стал чрезвычайно словоохотлив Константин. За логическими речами он не сумел спрятать волнения, не сумел спрятать страх. Голос его напоминал голос нашкодившего мальчугана, который держит ответ пред участковым. Он циркал колесиком зажигалки, которая беспрепятственно гасла. Пожалуй, размышляя я, Элла Одинцова принадлежит тем удивительным женщинам, перешагнувшим сорокалетний порог. Пожалуй, за напускной развязностью может скрываться материнская забота, принимаемая самой Эллой за слабость. Я крепче прижал к себе поэтессу, ее реснички, словно паучьи лапки, щекотали мою щеку. От порывов сильнее ветра скрипела дверь. Послышались уверенные, словно мальчик, расчехивший манту, шаги по снегу. Мы замерли в напряжении, снедаемые неизвестностью. Свистящее дыхание Одинцовой закладывало левое ухо. Животные инстинкты, присущие нам, были немы. Американский психолог Уолтер Кэннон верно заметил: столкнувшись с чем-то угрожающим, литераторы могут лишь замереть, или бежать, в редких случаях бить; такие вот защитные реакции организма. Входная дверь стала зловеще открываться, не зловеще она открываться и не могла.

## Глава 6

### Интеллектуальный китч

Сражения стихий напоминали первозданный пожар. В ревущем потоке можно было различить пронзительный собачий лай. И треск ломающихся деревьев, что в ледяных лучах полярной звезды покидали мир живых, заставил непроизвольно воскликнуть: божечки! Полночный ветер в сгустившейся мгле являл собою образ неподвластной нянечки, от которой нету спасения, от которой нету защиты, ненавистный горошек иль кукурузу, кому как не нравится, дело вкуса, нянечка насильно впихнет. Осиротелый дух, трепещущий за дверьми писательской гостиницы, кашлянул. И кашель его, что разнесся по улице безлунной, заставил пронзительно воскричать коллегу мою, Эллу Одинцову: ооооо! А уж Константина Алтаева и подавно, схватившегося за сердце, крикнуть уткой. Телефонный фонарик поэтессы прекрасным образом освещал данную нелицеприятную сцену. Алтаев, поддавшись этому сильному, словно пивной напиток «Охота», страху, оседал на пол. В мутном дверном стекле показался угрожающий силуэт. И будь то силуэт котенка, он все равно не растерял бы признаки угрозы. Ибо в сложившейся обстановке, когда утрачена связь, вышибло пробки, а тело служащей дамы безвольной марионеткой – вот оно. Мы замерли в шаге от, казалось бы, неслыханной дикости. Дикости, подобной той, когда скифы и азиаты с раскосыми глазами, для которых век есть всего лишь час, встретились с нашими предками. Впрочем, допускал я, у меня тоже глаза узковаты, а дедушка по маминой линии был монголом. Вздор, сие от них не зависит, скажет читатель, принакрывшись пледом, читая с замиранием сердца о приключениях литераторов, застигнутых страшным бураном. Тем временем дверь отворилась, а мы перестали дышать.

То был гражданин в черном шотландском берете. В руках он держал невообразимых размеров фонарь-прожектор, осветивший добрую половину фойе. Обезумевшие глаза его, бирюзовые, глядели осоловело на нас, писателей земли русской. Клетчатый, бордово-зеленый шерстяной шарф, желтая Аляска, куцый мех на капюшоне. И безгранично талантливые усы, покрытые превосходным инеем. Усы его, позвольте такое сравнение, были соломенными усами пограничника, левый ус указывал путь на восток, а правый, соответственно, на запад. Его рыжие унты, теплые сапоги мехом наружу, привлекли мое внимание, до чего стильно. – Меня зовут Виктор, я сторож, мы жили здесь продолжительное время с моей супругой Лизой, пока она не уехала к матери, не пугайтесь, – сказал он, покашляв в свой кулачище. Алтаев рассмеялся, он больше не держался за сердце, спросил: Виктор, а что со светом? Элла подошла к сторожу вплотную, кажется, готовая броситься на того с объятиями. – У нас вопиющий случай убийства, спасите нас немедленно, – зачастила она. И все-таки бросилась на несчастного сторожа с объятиями. Тот сконфуженно произнес: так пробки повышибало, теперь в подвал нужно, генератор запускать. Свет фонаря-прожектора плясал. Я не выдержал и подал голос: в общем-то, не произошло ничего необычного, кто-то укокошил Ольгу Глебски, полагаю, в деле замешаны хулиганы. – Полагает он, еще с буйнопомешанным не хватало делить ночь, – совершенно некультурно сказал Константин. Коллега-писатель оторвал прильнувшую к груди Виктора Одинцову. Произнес: Элла, не надо вот этого, вы сейчас человека с ума сведете, можно ли заказать такси, чтобы нас увезли сию же минуту, телефон стационарный работает? – Боюсь, это невозможно, все подступы занесло снегом, а единственный стационарный телефон вторую неделю отключен, – совершенно расстроил нас Виктор.

Я же в тот момент подумал вот о чем. И мировые войны, наркомания, безработица были совершенно безразличны в сравнении с вопросом, а почему же мне уже вторые сутки не звонит матушка. Ведь всегда, запомни, дорогой читатель, всегда, где-то далеко, где падал туман, там обязательно веет пением наших мам. – Господа, как же прискорбно, моя милая мать наверняка

ждет вестей, а я не в силах ей звякнуть, какой непорядок, непорядок, – трогательно сказал. Но меня никто не слушал. Раздавались обиженные восклицания Одинцовой: как замело, дайте мне лопату, я сама выкопаю нам путь, я немедленно желаю покинуть это место! – Поймите, лопату найдем, но если даже вы начнете копать сейчас, то к завтрашнему полудню окажетесь лишь на шоссе, а в такое время там ни машин, ни людей, – объяснял сторож. – В таком случае мы все будем копать, а на шоссе разожжем костер, нас должны заметить с вертолета, – рассуждал Константин. О бедной Ольге Глебски, кажется, все позабыли. – Я не хотел вам говорить, но рядом лес, а вчера возле нашей территории видели стаю волков, этот поход крайне небезопасен, – говорил Виктор. – И что же вы предлагаете, запустить генератор, а как быть с убийцей, он среди нас, может быть, это официант? – Элла ходила вдоль стойки регистрации, на которой лежал фонарь и светил на стену. – Исключено, весь персонал уехал сегодня, как только объявили о надвигающемся циклоне, – сторож расстегнул Аляску. Под нею обнаружилась премиальный зеленый свитер со снеговиками. – А как же родственники, наши родственники должны забеспокоиться через какое-то время, – Алтаев предполагал. – У меня только бывший муж, а еще соседка, которая присматривает за морскими свинками, – Элла закурила тонкую, коричневую сигаретку прямо в фойе. – А каков был из себя ваш муж? – спросил я. – Нежный и внимательный, не позволявший мне даже вставать с кровати без разрешения, но я так ненавидела желтые обои в нашей спальне, так ненавидела, они сводили меня с ума, он запрещал их сдирать, – поделилась Одинцова наблюдениями. – И что же, такой своевольник вас бил? – спросил Алтаев. – Да что вы, диктатура сердца, откровенно говоря, он был не кофе, а скорее цикорий, такой же безвредный, – хвасталась Элла.

Мы расположились у стойки регистрации в полутьме, три литератора и сторож. Мы напоминали завсегдатаев бара, хорошо знающих слово наклевать. Виктор неспешно достал из вещмешка белый термос, красные маки на термосе как поцелуйчики красной губной помадой. В шкафчике для служащих, где хранилась посуда, обнаружилось три кружки, крекеры-рыбки. Таежный душистый чай, ягодки, веточки, разлитый по кружкам, вскружил голову. – Мы прошлым летом с женой собирали, какой урожай грибов вышел, вы что, продали столько, что на отпуск в Черногорию хватило, – произнес горделиво сторож. – А я вот на север ездил, – сказал грустно Алтаев. – За впечатлениями для книжек? – развязно молвила Одинцова. – Какое там, на вахту, кушать хотелось, – поспешил пояснить Константин. Помолчали. Вьюга усилилась, где-то на первом этаже стукнула форточка. – Но я видел ваши книжки в магазине, разве вам не хватает? – невинно спросил Виктор. – Извольте, мне скрывать нечего, за свое самое успешное произведение, мы не о допечатках говорим, о первом издании, я получил двадцать тысяч рублей, писал год, – хмыкнув, ответил Алтаев. – Батюшки, какой кошмар, – поразился сторож. Помолчали. – Понимаете, всегда приходится где-то работать, вот полгода назад ездил на вахту на крайний север, по третьему образованию я инженер бурильных установок, – рассказывал коллега. – А я машинист, водил когда-то тепловоз, да, вот где размах, – протянул Виктор, – небось в Новый Уренгой ездили? – Мы с поэтессой внимательно слушали. – О, дальше Нового Уренгоя, существенно дальше, – оживился Константин. Затем допил свой чай, причмокнув. – Невероятнейшие места, а женщины какие, а ноги женщин, мужики там помешаны на женских ногах, – сказал довольно, словно ему вручили сталинскую премию, коллега. Помолчали. – Вообразите, даже памятник на центральной площади, ножи в колготках, в тувельках вот на таком каблуке, – делился своими воспоминаниями он.

Я рассмеялся, отчего-то мне захотелось написать ни много ни мало роман о женских ногах и Константине Алтаеве, нашем современнике, вынужденном горбатиться на севере, дабы прокормить ораву детей. При этом наш современник испытывает некие мистические трудности на этом своем севере. Научная станция, где трудится Константин Алтаев, естественно, отрезанная от мира, подвергается нападению. Кто нападает, не суть важно. В романе должны быть женские ноги, много женских ног. Они, как символ чего-то великого, дарят надежду на то, что завтра произойдет нечто грандиозное и нам продлят выплату пособия еще на полгода. Фонарик-прожектор

в руке сторожа, свет пляшет, чай выпит. – А что все-таки случилось с нашей Оленькой, – перебил мои размышления Виктор. Он зашел за стойку регистрации, подсвечивая, изучал бывшую Глебски. Теперь она была где-то в другой плоскости, теперь там лежала одна оболочка. – Да, похоже, муж нашей Оленьки до нее все-таки добрался, – констатировал сторож. – И вы думаете, что этот муж сейчас где-то в гостинице? – опасливо спросила поэтесса. Она извлекла мерзавчик из кармана своего джинсового платья. Покачивая бедрами, как бы танцуя под завывания ветра. Затем открутила крышечку, прихлопнула мерзавчик легко и непринужденно. Она пила как животное или ребенок, женский алкоголизм оскорбление, быть может, самой природы. – Боюсь даже предположить, мадам, этот уфолог терроризировал нашу Глебски долгое время, бывало, подкарауливал после работы, а развод не давал, – поделился Виктор подробностями жизни Ольги. – Возможно, он сжег все, чему поклонялся, но поклонился тому, что сжигал, я бы так охарактеризовал его гнусный поступок, – произнес глубокомысленно коллега-писатель. Приятное волнение охватило меня, столько сюжетов, искрящих вокруг, столько поводов не искать работу. Изысканно отвечать, еще один роман, вот напишу его, а потом на завод, на рудники, на новое место службы, куда пошлет служба занятости.

– Кто-нибудь желает угоститься джином? – отвлекла от интереснейших размышлений Элла. У меня горели щеки, свой тулуп я усадил на венский стул, свет фонаря, лежащего на стойке регистрации, падал таким образом, что создавалось ощущение: медведь, а не тулуп и венский стул. – Вы похожи на мисс Россию, прибавьте сюда территорию Аляски, получите вы, – неожиданно подарил комплимент поэтессе Константин. – Ах, – томливо произнесла она, – я всего лишь интерпретирую реальность, а не копирую, масштабы, масштабы. – Обстановку располагала к чему-то интимному, например, съезду молодых литераторов, происходящему по обыкновению единожды в году в Липках. Или же к такому интимному, как, скажем, презентация очередной книги о родном крае в районной библиотеке. Однако Виктор нетерпеливо покашлял, вероятно, наши разговорчики порядком ему наскучили. Подобные светские разговорчики могут вызвать у гражданина, не знакомого со спецификой общения людей пишущих, колики в животе. Только так мы и можем утверждать свою власть над гражданами, заставляя страдать, плакать, смеяться. Но знакомиться и знакомиться с нашими текстами, разговорчиками, статейками. – У вас не будет карандаша, меня внезапно посетила важная строчка? – истерично крикнула Одинцова, она сидела на шахматном столике, болтая ножками. Сама же себя перебила: не надо карандаша, у меня телефон. Поэтесса набирала в заметках, проговаривая вслух: экспансия моей любви значай коснулась ваших границ. Я подошел к ней и ободряюще поцеловал в лоб, она игриво произнесла: ой, подлиза, ой, подлиза. Завывающий ветер, напоминал этническую песнь якутов, зов шамана, хлопнула форточка, по полу прокатилась волна ледяного воздуха. Ноги в легких пижамных брючках стремительно покрылись мурашками. Глубоко затягиваюсь электрической сигаретой, обращаюсь к Виктору: давайте спустимся в подвал с вашего позволения, наверно, мы вас утомили, наш ночной портье, наш добрый друг.

Сторож шумно сглотнул, сказав неуверенно: необходимо запустить генератор, а кое-кто хотел выкопать путь на свободу, а лопаты у нас хранятся в инвентарной комнате. Позвякивая увесистой связкой ключей, Виктор поманил нас. Кажется, мужчина несколько боялся писательского общества, мало ли что мы могли выкинуть. Он подвел нас к неприметной металлической двери под лестницей первого корпуса, на которой висел план эвакуации. Элла, пребывая в хорошем настроении, напевала о белых снежинках, что кружатся с утра, также о выросших сугробах посреди двора, напевала. Константин шел позади, держал меня за плечо, чтоб не отбиться от коллектива. Служащий гостиницы попросил поддержать фонарь поэтессу, подсветить замок, однако женщина по нелепой случайности ослепила себя. – Ай-яй-яй, – закричала она. Всполошившийся было сторож, пожурил ее: прекратите паясничать, несерьезно как-то. Я же в очередной раз отметил, какая интересная поэтесса повстречалась. Интересная, словно притча о парикмахере и клиенте. Разго-



ворившись о боге, парикмахер сетует, сколько боли вокруг, унижений и прочих гадств, если бы Он был, Он бы не допустил подобного. Клиент возражает, парикмахеров не существует. Как же не существует, удивляется парикмахер, вот же я, стригу вас. Не существует, гнет свое клиент, иначе не было бы столько заросших и небритых людей вокруг, как вон тот человек на улице. Дело не парикмахерах, восклицает парикмахер, люди сами ко мне не приходят. И этот пронизательный клиент говорит, бог есть, люди не ищут его и не приходят к нему, поэтому так много страданий и гадств.

Наконец дверь открылась. – Доброе утро, страна, – официальным тоном, тоном Александра Фадеева, литературного министра, сказал Алтаев. Луч осветил узкие ступени длинной лестницы, конца которой не было видно. Пахнуло затхлыми соцветиями подвальных цветов, подгнившей древесинной, мокрой собачьей шерстью. Настроенные на сомнительные авантюры, мы жаждали поскорее очутиться в данных удивительных катакомбах. Поэтесса, ухнув, едва не упала. Ее поддержал Константин, бросив шутивное: пошли спотыкаться и падать кони и лететь через их головы ляхи. – Что вы, у меня мозжечок работает прекрасным образом, никуда я не упаду, – кокетничала она, хрипло посмеиваясь. Спускаясь первым, Виктор предостерег: уважаемые постояльцы, попрошу вас никуда не сворачивать, тут сложнейшая система подземных коридоров, она тянется на многие километры и выходит далеко за пределы резиденции. Ступени были скользкие, ледяные перила обжигали ладонь, кричал Алтаев, шагая позади меня, продолжала мурлыкать песенку Одинцова. Стоя у подножия лестницы, я заметил некоторые странности. Метрах в десяти от нас угрожающе булькала кислотно-зеленая лужа. Тусклый свет, как в ночном клубе, где собралась потанцевать молодежь, падал на потемневшую от времени кирпичную стену. Пузырьки на глади киселя напомнили мне бородавки. Однажды в детстве Ольга Морковкина притащила в школу огромную уродливую жабу. Мы все, влекомые интересом к животному миру, погладили существо. В дальнейшем дерматолог удалял наши бородавки, сетуя на детскую безалаберность. – Мальчики, мне это не нравится, я вызываю поллюцию, – стала заговариваться Элла. Константин сопел где-то рядом, вероятно, от сырости подвала у него заложило нос.

– А это у нас ведьмин студень, поводов для беспокойств нет, – произнес вкрадчиво Виктор. – Что есть ведьмин студень, – азартно спросил я. Мы стояли перед интересной лужей, разглядывая любую пыльную субстанцию неизвестного происхождения. – Всего лишь коллоидный газ, способный превратить человеческие кости в резиноподобную массу, – ответил тихо сторож. Элла медленно потянулась к студню. Виктор закричал, одернув поэтессу: перестаньте, он проникает через кожу и любую другую органику, металл, дерево, пластик, бетон! – И что же, возможность, возможность не подвергнуться воздействию имеется? – спросил коллега писатель. – Вы знаете, имеется такая возможность, студень бессилен против керамики, – пояснил сторож. – А как аппетитно выглядит, словно киевский торт, словно тархун из моего детства, – произнесла мечтательно поэтесса. – Борис и Аркадий много лет назад разлили, до сих пор не знаем, как избавиться, пойдемте, мы почти на месте, – поторопил нас мужчина-служащий.

Коридор, которым шли мы, напоминал коридоры парижских катакомб. Эта огромная сеть искусственных тоннелей, где хранятся кости шести миллионов граждан, способна вызвать у человека с недюжинным воображением трепет. Милые лягушатники, живущие на останках, решайте что-то с этим вопросом, пожалуйста. На темечко упала тяжелая капля, кротко пискнула мышь, зазвенели оковы. Чье-то тяжелое дыхание, раздающееся откуда-то сверху, навевало мысли об ужасающей судьбе графа Монте-Кристо. Виктор по-прежнему шагал впереди, свет его фонаря освещал склизкие стены, неведомые, фиолетовые водоросли пульсировали. Со сводчатого потолка свисали почерневшие корни растений. По всему вероятно, мы вышли за пределы гостиницы. Холодная ладонь Алтаева, теплая ладонь Эллы, ширина коридора позволяла идти нам, держась за ручки. С каждым шагом в подошву моих белых тапочек впивались острые камешки, достав-

ляя дискомфорт. Сырой воздух нравился чрезвычайно. – Вы ведете нас куда-то не туда, – сказал неуверенно Константин. Коллега был все-таки писателем, поэтому на любое явление, событие у него имелось собственное мнение. Метрах в трех от нас показалась развилка, молчаливый сторож свернул налево, мы вынужденно следовали за ним. Впрочем, Элла предприняла попытку поступить по-своему, поэтессам свойственен юношеский максимализм. Я крепко держал ее за руку, пойти направо женщине не удалось. Спустя шагов тридцать фонарик осветил красную деревянную дверь. Я ошибочно предположил, что за нею нас ожидает очередная, как это водится в страшных подвалах, виллюйская колония прокаженных, куда якуты ссылали пораженных эпидемией проказы граждан.

Вопреки расхожему мнению, в комнате пахло вовсе не тем, чем должно пахнуть в жутких подземельях, сероводородом, копытами и кровью. Но пахло медицинскими делами, лекарствами, нашатырным спиртом. Подвальная комната была как бы противопоставлена чердаку, месту, где любили собираться наши химкинские поэты, божемные граждане, предпочитающие абсент и спиритические сеансы дешевой водке и Грушинскому фестивалю. Семантика подвальной комнаты показалась мне интересной, несмотря на предрассудки, коими страдал Токарев. Допустим, что подземные пространства являются обителью исключительно темных сил. Литератор припомнил наших родненьких староверов. Полагающих, в обетованную землю Беловодье ведут именно подземные ходы под горными системами Алтая, Саян, Гималаев. И невольно избавился от предрассудков. Сторож, пыхтя от усилий, завел синий генератор. Загудели лампы, зажглись. И нашим взорам была явлена крайне странная картина, способная озадачить даже таких великих биологов, как Сеченов, Вернадский, Мечников. – Божечки, мозг! – воскликнула поэтесса. Коллега-писатель ничего не воскликнул, он схватился за сердце и стал оседать на желтоватый кафельный пол. В уголке, заставленном аппаратурой, имеющей поразительной сходство с радиостанциями, осциллографами, серыми приборами, измеряющими плотность газа, радиоактивный фон, температуру. В большой колбе с толстым зеленоватым стеклом плавал мозг, лопались пузырьки, меланхолично бурлил раствор. Размеры мозга были поистине выдающиеся. Любопытно, подобно печени, способен ли мозг увеличиваться в связи со злоупотреблением информацией. Каждый второй мой знакомый мог похвастаться увеличенной печенью, правда, они все чаще не хвастались этим, скорее, плакались. Толстые кабели, напоминающие черных змей мамб, тянулись к самому потолку. – А чего это он, свет же отключили, – поняв, что валять дурака нет смысла, произнес Алтаев. – Отдельный генератор, вообще, эта штука, мне кажется, вечная какая-то, насколько знаю, она появилась еще в шестидесятых тут, – сторож пригладил свои соломенные усы, снял шотландский берет. Аккуратная лысина, окаймленная кустами рыжих волос, напоминала озеро.

– А зачем он тут, для какой такой цели, ни сном ни духом, сколько лет он тут булькает, – продолжил Виктор. – Позвольте предположить, для эстетики, – дал свою оценку происходящему Константин. Мы с поэтессой одобрительно покивали головами, теория была весьма состоятельной. На длинном лабораторном столе, где стояли приборы, я приметил песочные часы, песок стекла вниз еле заметной струйкой. – Не ограничивать контингент собственных мыслей какими-то рамками, что ли, – задумчиво сказал Алтаев. Одинцова достала очередной мерзавчик из кармана своего джинсового платья, пригубила. Лучи фиолетового света, падая на ее пепельные короткие волосы, окрашивали голову Эллы в розовый. Болотная канистра с бензином у генератора, стены, выкрашенные в лимонный цвет. – Теперь можно идти за лопатами в инвентарную комнату, господа, – сказал сторож, позвякивая своими ключами. – Нетушки, давайте разберемся в данном вопросе, зачем тут этот мозг? – произнесла женщина, оттопырив обиженно нижнюю губу. Алтаев, подойдя к внушительному органу, легонько постучал по колбе. – Сейчас же прекратите, это запрещено делать! – закричал испуганно Виктор, взяв коллегу-писателя под локоть. Тот вырвался, раздраженно сказав: но-но, не надо меня трогать. – Мальчики, не деритесь, Виктор, скажите, этот

мозг может быть замешан в убийстве Ольги Глебски? – задала хорошенький вопрос Одинцова. – Исключено, в убийстве Ольги Глебски замешан ее муж, не давший бедняжке развода, – ответил категорично сторож. Меня же стала одолевать сонливость, вероятно, упал уровень сахара в крови. Зевнув, едва не проглотил присутствующих в комнате сограждан. И в голову полезли озорные мысли о предстоящей повести.

Никаких настоящих имен, Константин у меня будет каким-нибудь Михаэлем, или же Генрихом, пожалуй, Генрихом. Необходимо несколько поперчить грядущий рассказ. Допустим, Генрих был рожден от пленного немца, который некогда занимался научной деятельностью, смежной с оккультными делишками в лаборатории на крайнем севере. Там же обнаружили нечто, способное разрушить многие семьи, образно выражаясь. Писатели-фантасты только и могут, что образно выражаться. А повесть, посвященная парню, нашедшему загадочные письма и дневники своего отца, должна быть, безусловно, фантастической, размышлял я. Однако женские ноги, не стоит о них забывать, иными словами, женские ноги станут символом некоего всеобщего спасения. Крайне удачно, мне кажется, выбрано место действия, дальний север, ничья земля, заполярный круг. Ведь именно там происходят поистине удивительные события, будоражащие воображение культурных читателей, там живут белые медведи, россомахи, морской котик, бог ты мой, морской котик. Герои повествования оказываются помещены в такие обстоятельства, что их политические воззрения перестают иметь смысл. Необходимо также добавить драматизма, какого-то драматизма. Юноша Генрих, сын пленного немца, страдает игровой зависимостью, молодой человек не в состоянии пройти мимо одноруких бандитов. А в ближайшем населенном пункте, куда отправляется Генрих за помощью, он встречает игорный зал, где знакомится с неопрятным гражданином, имеющим облик Федора Достоевского и поразительный дар провидца. Хорошо, подумал я, как бы не забыть эти замечательные подробности, может, подняться в номер, Токарев. Поднимись, чего ты. Я не совсем знал, сколько у меня времени, близилось лето, летом работать над текстами сложнее. Я стоял накануне двадцати восьми лет. Постоял там некоторое время, потом обратился к Виктору и остальным, горячо рассуждающим о том, где лучше начинать копать, чтобы к завтрашнему полудню оказаться на шоссе: ладно, пойду я, пирожочки, к себе в апартаменты, надо бы чего-нибудь сочинить, а перед этим посетить столовую, ужин мы пропустили, быть может, буфетчица смилостивилась и оставила нам сухофрукты. Нужная этому обществу, как синие рыночные весы «Тюмень», литература требовала не много. Необходимо сесть за писательскую конторку, нахлебаться кофе, да приготовить себя, как рождественскую свинью на рождество. Я вышел в подвальный коридор, сказав на прощанье: гранд мерси, коллеги, увидимся на той стороне.